

Весенние перевертыши

Дюшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятерки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал, конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевертыши.

1

Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Вася-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно. Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадопа,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых, — по как-то недодумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад, — стояла вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь невымытые весенние двойные рамы средь других девчоночьих голосов — ее голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точеный нос...

Тебя мне испослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было, и все не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает, кажется, вот-вот приподымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричесанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает лужами, похоже, поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как будто стоишь не на земле, а на чем-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются надсадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел ее раз по десять... Долговязая, тонконогая, пескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко-хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженных висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое спнее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри легкость.

О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчочный базар копчится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвешит на прощанье: «Привет, девочки!» И повернется в его сторону! И пройдет мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нем поднимающуюся легкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьев, но видел ее — затылком сквозь зимнюю шапку: бежит вприпрыжечку, бережно несет перед собой готовые в любой момент взлететь руки, задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках.

Топ, топ — невесомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водонадным шумом.

Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрый глаз в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскаленная улица медленно остывала — небо стало обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрел способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову? «Тебя мне прислал, тебя, моя Мадопа...» Он сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад ее видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.

Значит — он сам... Что с ним?

Вдруг да сходит с ума?

Что, если все об этом узнают?

Страшней всего, если узнает она.

Дюшка жил в поселке Куделино на улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жан-Поля Марата тогда не было, сам поселок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жан-Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда ее начинали строить, был юбилей французского революционера.

В поселке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти штабеля — целый город, едва ли не больше самого поселка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудиться среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепеж, баланс, резонанс...

Надо всем поселком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от поселка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ведутся разговоры. «Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загопит, будет мне памятник на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца в могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Мое детище». Ну, а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпаешь, чувствуешь — кран ждет его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, ее часто вызывают к больным по почам. Есть еще бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а проходящая. У нее в том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Климовна в ней только почует. А когда-то даже и не почевала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под

краном, что у матери с тяжелобольным Грипченко стало еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О господи! — постоянно вздыхает она обреченно. — Жизнь прожить — не поле перейти».

3

Непривычно, словно раскаленная, улица остыла, снова стала по-знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девочку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет — не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем не похожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом на болоте слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже летом — оставались ляжшны, до краев заполненные черной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ераха. Дюшке сразу же захотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильнее Саньки был Левка Гайзер. Левке, как и Саньке, шел уже пятнадцатый год, он лучше всех в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приемы джину-джитсу и каратэ. Впрочем, Левка знал все на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, говорил о нем: «Из таких-то и вырастают гении». И Левка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят. Никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жан-Поля Марата, если считать Левку, был третьим по силе. Там, где был Сань-

ка, он старался не появляться. И сейчас лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверно, уже заметили, поверни — подумают, струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убежала, чтоб не ловить ее после каждого броска, привязывали за погу на топкую длинную бечевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утопанную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они билась в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка. Маменькин сынок...» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, оставшийся еще с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой степе был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голосов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мертвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

Санька в своей лохматой шапке, деловито пасупленный, принимал услужливо поднесенную лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку веревочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец веревочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплюнул Санька. — Беги за веревочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.

Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоящие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришел, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Смотрите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй ты там, косорукий, веревочку неси!

Колька Лысков, верткий, тощий, с маленьким, морщи-

нистым, подвижным, как у обезьянки лицом, для всех услужливый, а для Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принес веревочку.

— Глядите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на веревочке вниз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается вниз головой в руке Саньки Ерахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на веревочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Дышала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распрямился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой веревочку и... мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом,— клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый решительный нос, круглые, совиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвел глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося краснорожего виноватого Петьку — «косорукий, не попал!» И Колька Лысков осклабился, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ераха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы висящую лягушку, дышащую мягким животом, глядящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос — у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнетяся, Колька Лысков услужливо скалит зубы. Кричат лягушки, крик слепых, не видящих, не слышащих, не знающих ничего, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Саньки серый нос и зеленые болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит», — подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подобрался...

— Дай я кину, — подсунулся к Саньке Колька Лысков, на синюшной мордочке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь, — ответил Сапка и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тонкой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюшкин ровесник, учатся в одном классе.

Если Минька бросит, то попробуй после этого отказаться. Не один Санька — все накинутся: «Неженка, маменькин сынок!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, по против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня. — Голос у Миньки тонкий, девичий, и сильные страдальческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Минька-то красив!..

Санька поставил на Миньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька вон просит. — Слезы в голосе.

— Бери веревочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Миньки перекошено лицо — от страха, от брезгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если Сапка заставит Миньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем личике изумленная радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка. «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жестко округлив нечистые зеленые глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперед, Санька двинулся на Дюшку, бережно переноса каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжел — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька, очередной раз попробовав погой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?.. — сказал Дюшка. — Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька заворожено и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скрежетал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надежно тяжел.

Санька неловко, словно весь стал деревянным — вот-вот заскрипит, — повернулся спиной к Дюшке, все той же ошупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.

— Бери веревочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперед.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съезженной физиономии не исчезло, наоборот, стало еще сильнее: «Что будет!»

— Бери, гад, веревочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки расстроено зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передергивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая ее, шли тяжкие лесовозы, заляпаные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежее, налитые соком слове

и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с бревнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей, запах свободы.

Над крышами в отцветающем вечернем небе дежурил большой кран. Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворенный в воздухе невинтно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька все равно заставит убить лягушку. Хотелось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятного. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить? Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опереться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — легкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... и он ненавидит Саньку! Все перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжелые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушенный самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворенный в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик иступленной страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — все сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод.

4

Дома шел разговор. Как всегда, шумно говорил отец, как всегда, о своем большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок. Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в

воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол,— накладно. Из воды выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый крап купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, взлохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднес... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днем, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера. Пятнадцать лет...

— А вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая пятерней в растрепанные волосы, мать глядела перед собой углубленными глазами.

— Белые нарциссы... — с досадой бормотал отец. — Я даже еловых шишек не могу здесь поднести, к нам

приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачу о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мечутся, не знай чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы, до них ли сейчас, он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрыл книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точеный нос, завитки волос на висках — красавица.

Тебя мне прислал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

5

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но, спрыгнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие парадно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешенном уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо. Большие птицы, черные как головешки, углубленные в свои серьезные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жан-Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, один Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи, он только теперь сообразил, чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Сковывающее пальто, кусочек

топкой белой шеп между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и теплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а ко-го это он ждет?..

И опять влез в мысли непрошенный Санька Ераха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справишься. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живет на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую березку, окутанную по ветвям сквозным зеленым дымком, на старый пень посреди пстопанного двора. Днем этот пень как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живет на пустой улице, что-то помимо грачей, березки, старого пня. Солнце переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помятую машинами дорогу, грачи блуждали между теньями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее все,— невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затанв дыханье, боясь спугнуть свое хрупкое неведение. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Береза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не дается.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хлопанье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив черных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбаламученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыш улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми скатами и без того вмятую щебенку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, по его грубое рычание еще долго билось о стены домов, о темные, маслянисто

отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И береза в зеленой дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайпа рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного времени...»

Время! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вечера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг.

И этот старый пенёк — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из близких далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течет время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжелую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрепанный ранец, руки зябко засунуты в карманы.

— Дюшка... — И виновато помыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот, — объявил Дюшка.

Мишенька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросенка, нос словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах дрожание, должно быть, от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счетов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак. Время сейчас улицу шевелило. Все! То пет, то вдруг есть... Или вот береза, например... И грачи были да улетели... И еще пень этот. Погляди, как его время...

Мишенька глядел на Дюшку, помахивал поросычьими ресницами, губы его начали кривиться.

— Дюшка, ты чего? — спросил он шепотом.

— «Чего, чего!» Ты пойми — пень-то деревом раньше был, а еще раньше кустиком, а еще — росточком маленьким, семечком... Разве не время сделало пень этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с киринчом. — Мишенька расстроено зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в шне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой! Что — ой? Чего ты на меня так тарашисься?

Глаза у Мишеньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живет по всей улице Жан-Поля Марата; есть в кармане сахар или пет, та все равно смотрит на тебя со слезой, не поймешь, себя жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?

И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Мишенька, завтра все будут знать.

Улица как улица, береза как береза, и старый пень всего-навсего старый пень. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Мишенька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Мишеньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума посходили — на лягуш ни с того ни с сего!.. Что вам лягушки сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему.

— Илевал, не боюсь!

— Разве можно Саськи не бояться? Сам знаешь, он и пожом... Что ему.

Мишка поеживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Мишки как у ипчейного Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый,— сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..

— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Саська насочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Мишка перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель,— сказал он.— Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо,— опустил в портфель. Кирпич лег рядом с задачиком по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжелым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Саська. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Мишка с уваженпем поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Подждать Римку вместо с Мишкой глупо. Да и какая пужда? И все-таки хотелось ее видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Саська не встретился им по дороге.

6

Он успел ее увидеть перед самым звонком в толчее п сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это свое маленькое счастье.

— Тягунов! Федор! Ты успул?

Женька Клюев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.

Учителя математики звали Василий Васильевич, п фа-

милля у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год грозитя уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокаленной, как бок печного горшка, лысиной, с всячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали повичков, которые приходили из начальных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путевку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что когда Левка Гайзер, тогда еще ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери к окну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом. — Что за распущенность, спрашиваю? Куда же ты катинься, Тягунов? Идет последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?.. — Густые брови Васи-в-кубе выползли почти на лысину. — В итоге ты второгодник, Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен бы решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж... — Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковатой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своем столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мятый пиджачок, жеваный галстук, — но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил на уроки платяную щетку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалив плечом к стене, стоял Санька Ераха, лицо хмурое, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и холодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не ползет.

Дюшка не спеша раскрыл коробочку, вытащил щетку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штанов — удовольствие.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошелся по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнется хотя бы шепотом. Но молчанье. И пришла в голову простая мысль: а почему все-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не станет его подстергать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроение не отравляет, как это делает сам Санька, а все-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитить Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например,

не захотел решить задачу о путешественниках, Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчен, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть.

Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт-те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щетку в коробочку, взглянул поспешно на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутно-зеленые глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич все-таки ненадежная защита.

Так в молчании и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Левку Гайзера. Кирпич — ненадежно, один только Левка мог помочь.

Он отыскал Левку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Левки серые спокойные глаза и ресницы, как у девочки, загибались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, легким дымком над полными красными губами. Красивый парень Левка.

— Научи меня джиу-джитсу, Левка, или каратэ. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Левка, нужно! Очень! Ты знаешь приемы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт-те какие басни про меня распускаете.

Зазвенел звонок, Левка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушел дружинницей спортивной походочкой.

Одна надежда на кирпич.

— Минька! Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьет. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Все на земле шевелится, даже мертвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно, давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издали к нам притащен. Он самый старый в поселке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была, но скучная. Ух какая скучная! Ему же все равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнаженной шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с лентой, разомлевшая. В самой Римкиной походке, обычно летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, среди других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нес тяжелый портфель — спасительно тяжелый — он не боялся встречи с Саянкой, а потому ничто сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов попевал мелким козлиным скоком со своим истрепанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлестывала нежность к товарищу. — Это хорошо, что мы родились! Взяли да вдруг родились... И растем и все видим! Хорошо жить, Минька!.. А я ненавижу, Минька... Я Саянку Ераху ненавижу! Живет себе лягушка, ему надо ее убить. Живем мы, ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить куда хочу, глядеть что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приемы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от нее накалялся белый свет, от нее горел Дюш-

ка. Он говорил, говорил, словно пел, и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, еще такое завернет здесь, в поселке, — ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очень, очень хорошая! Она людям умирать не дает. Сама, Минька, устает, ночей не спит, чтобы другие жили. Это же хорошо, скажи, что пет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой... Минька!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слезы. Идет, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под рапцем, дергающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он все-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему еще обнаженную землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевертыши.

8

С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поверачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незванный гость не уйдет?..

Гость-то уйдет, а беда останется, что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гремевшему басу.

Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в поселке.

Мать не оглянувшись в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася-в-кубе покосился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос. — Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чье влияние сильнее на ребенка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич... — начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Федор Андреевич, — голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно, — что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валяюсь, — отмахнулся огорченно отец. — И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня, — снова зарокотал Василий Васильевич, — я вовсе не хочу, чтобы каждый... каждый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передается на его мальчика — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор все, что говорил Вася-в-кубе, было и нужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошелся слевой Гайзером. Он-то уж поможет... По-тес-ней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Левка таких тараканов зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачи про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал.

Зато Климовна съебедничала:

— У него Минька, сын Богатова,— первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам,— подала голос мать.— Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я, со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, власть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушел успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропащий ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Не-ет, я приму меры — забудешь улицу, Мипек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустилась на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углы губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка...— И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна,— выдавил Дюшка, в тон матери, тихо.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придется спасать... А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт!— В полном расстройстве отец пунул ногой стул, было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.

— Мам...— У Дюшки сжалось горло.— Мам... Я все... Я сам... Не надо обо мне... ду-мать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Грипчешко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я все-таки приму меры! Не-ет, я на самотек не пушу! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к моему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике... Как мужчина мужчину прошу, так и передай — как мужчина мужчину... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запапи! А если ночью прорвет запапь?.. Нет, дружок, нет, не крути! Вышибай платформы — кровь из посу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздыхала над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошел, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Грипчешко. Потом всплыл в памяти Мпнька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно, Мпнька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными лапами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Еще у Минькиного отца страшная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты...

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Страшный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.
Задача о путешественниках никак не решалась.

9

Левка Гайзер сам подошел к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжечку, румяные щеки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и еще какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом со своим потасканным портфелем. Портфель оттягивает руку, в нем кирпич против Саньки Ерахи.

Левка с ленцой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши. У меня на этот счет свое мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — черт с тобой, тони, того стоишь.

Дюшка терпит свою насекомость, ждет, как и когда умный Левка бросит его в математику, словно в воду.

— Вот...— Левка протянул Дюшке кпигу.— Нырри в нее, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывешь до конца — буду с тобой разговаривать. Не проплывешь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Левка, не зови меня тараканом.

Левка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не правится.

Нет, он все-таки человек невредный, другой бы видя, что не правится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Левкой.

— Левка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг... Грачи улетели, машина прошла, почки на березе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время все меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, почек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идет, все меняет.

— Гм...

Левка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на березе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во времени... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего.— Дюшка теперь готов был великодушно простить Левке и «таракана».

Грязную улицу Жан-Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Левкой загляделись на нее. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд! — объявил Левка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, земля вся старше, вселенная...

Дюшка задумался, еще раз представив себе в мыслях

кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Левка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечья, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у нее времени больше прошло.

— На земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я еще молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Левка помолчал, хмурия брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Черт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?

— Альберт Эйнштейн, самый великий ученый двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..

— Ну, ты этого не поймешь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо.— Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?

— Да ерунда — кирпич тут.

— Киррич?! Зачем?

Дюшка помялся — сказать ли Левке правду? И постеснялся.

— Мускулы развиваю.

— Чудной же ты... Мускулы. Киррич в портфеле.

— Вот если б ты мне приемы джиу-джитсу показал... Левка только махнул рукой:

— Чудной!

Они расстались.

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Грицев любил капитанскую дочку, Том Соьер тоже там какую-то девчонку в панталончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые парциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне писнослал,

гебя, моя Мадопа...» У Римки волосы у висков вьются, как у Натальи Голчаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да уже! Вдруг да он в Римку Братепеву?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, во все не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет, и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то странное с самой Дюшкой. И Римка тут ни при чем, она знать ничего не знает, смешно на нее сваливать. Случилось! Даже Мишка заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснешься в одно прекрасное утро и почувствуешь — все прошло: на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Сапке Ерахе нет выворачивающей душу ненависти, с Сапкой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Левка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Левка самый умный из ребят...

Дюшка со страхом открыл Левкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывет до конца, отвернется тогда Левка.

Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытянутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизон-

та только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В черной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и паше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр-пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — Туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звездные тучи, дым солнц-пылинок клочьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.

А Дюшка съезживался, становился все ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с поселком Куделипо, вместе с родной Землей, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается, вселенная величаво растет...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал поселок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно, люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Снят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашел свое пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над поселком. К ним-то и поднял лицо Дюшка, взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучащимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?

— Страшно.

— Лучше бы не знать этого?

— Лучше, покойней.

— Не знает ничего таракан. Хочешь быть тараканом?

— Нет.

— И я не хочу.

— Значит, хочешь все-таки знать?

- Все-таки хочу.
- А страх, а покой?
- Пусть.
- Ты дочитал свою книгу?
- Нет, не до конца.
- Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучающимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино против пугающей вселенной?

Шумела река, спал покрытый звездным небом поселок Куделино. Стояли друг против друга — мерзнувший от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

11

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагать в школу. Береза, старый пень, продавленная дорога, бабка Знобишина, тянущая на веревке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а все-таки он стал иным, слова перевернулся.

Береза, пень, старуха с козой...

Все кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что — Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе небывалое уважение. Никто не знает, как велик мир, как мелки люди, он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка все-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ерахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумнел, открыл вселенную, — возьмет да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Мишка. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрек:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Мишка виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

— Не знаешь?

— Не, — сознался Мишька.

— А я знаю.

Мишька шнурь не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдал из себя:

— Для чего?

— Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка. — Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Мишька безучастно поморгал бесцветными пороссячьими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живем. А подумаешь, так и жить не хочется.

Мишька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

— И мне, Дюшка, тоже.

— Чего — тоже? — пасторожился Дюшка.

— Также жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Мишька, таких книг не читавший, ничего не знающий, значит, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

— Это почему же тебе-то?..

— Да отец с матерью все... Жизни нет, Дюшка.

Мишька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнанные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Мишька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

— Мамка каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.

— Как — загубил?

— Да женился на ней.

— Женился и не любит, что ли?

— Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрет.

— Это же хорошо, Мишька.

— Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня воп ботинки рваные, у матери платье нового нет, а он... любит, видишь ли.

— Недобрый он, что ли?

— Добрый, Дюшка. Только это все равно плохо. От его доброты все и получается не как у людей. Я ненави-

жу его, Дюшка!.. — Слезы в спящих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос. — Думаешь, за доброту не увидеть пельзья? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас еще красивая, а он?.. Погляди, как мы живем. мамка себе платя купить не может. Если б еще был отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул свежий ветерок — мимо пробежала Римка Братпева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобожденная, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ, топ — по всей улице, словно музыка. Освобожденная и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим наметом свою хватающую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумаешь, задавака.

От Минькиных слов съежилась, погасла разгоревшаяся вчера вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос — для чего живут люди на свете? Не плевать на Миньку, на его слезы. Хочется любить и жалеть все на свете — эту рыжую веселую улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку:

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово не вру! Ты лучше всех ребят!.. Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слезы еще блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

12

Так много навалилось, что на все стало не хватать Дюшки — жизнь узка и тесна, не развернешься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну —

от псе к нему, и изумляться вздохам лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, сппеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Левкой. Разговор настолько серьезен, что его пельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Урок кончплись, звала за собой Римка. И звал... Нет, не Левка. Звало только что открытое мирозданпе. Что делать, когда один только Левка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Левка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Левка только что сошел с турника — вертел «солнце», делал «склепку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуешься. Дюшка решил — надо тоже начать заниматься на турнике, пакачивать себе мускулы. Левка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустилс я рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, все не успел... Страшно, Левка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Левка, твою книгу читал и пет-пет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень, очень маленький. Все равно что и пет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Левка, не смейся. Я серьезно.

— И я серьезно: пощупай голову, прошу.

Нет, Левка не улыбался, коспл строго серым глазом на Дюшку.

— Голова как голова, Левка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звездами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в нее вся вселенная поместплась — миллиарды звезд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан — уж извини! — самое великое, что есть во вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Левка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начипенную сейчас вселенной. Действительно! Но стеснялся Левки, подавленно стоял, не смея радоваться.

А Левка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунул — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками большую яму не выкопаешь. Вот и ученые раскопали вселенную с помощью математики.

— А я-то думал, они, ученые, в телескопы все это увидели, — несмело произнес Дюшка.

— Разве можно увидеть все, даже в телескоп?

— В телескопы нельзя?..

— Ты видишь ночью звезды?

— Вижу, конечно, — ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звезд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или световых лет?.. Увидеть это нельзя, надо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперед: в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнется, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего будет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я ее уважаю, Левка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Неспособен я, Левка. Какую задачку ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачки бывают интересными?

— Вот те раз! — Левка рассмеялся. — Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, неинтересны трудные.

— А ты представь себе: задачка — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильнее хочется ее разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут. Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да еще интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б движется паша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Левка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда небольшая, по Земле шаркнула. Хорошо, что в дикие леса шлепнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим ее ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задачка с двумя путешественниками — ракетой и кометой..

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Левка. Все узнавать наперед ста-
нешь.

И Левке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Все не все, а кое-что, — ответил он скромно.

— Левка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Левка закосил глазом в сторону.

— Я тут поважней пацанал... тайпу... — сказал он. И замолчал, и еще сильнее закосил глазом.

— Важней ничего нет, Левка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти.

Последние слова Левка произнес глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдавил из себя шепотом:

— Лев-ка-а, разве такое может?..

— Может — не может, надо узнать.

— После смерти чтоб?..

- После смерти.
- Вроде привидения? Да?
- Привидение — сказки!
- А как тогда?
- По-настоящему, как сейчас.
- Левка-а, ты не болен?
- Ничуть.

Сердитый и вовсе не смущенный ответ восхитил Дюшку в душе.

— Вот это-о да-а!.. Умереть и — снова!.. Только ведь в могилу закопают, Левка.

— Пусть.

— А может, ты все-таки болен?

— Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймешь.

— Я постараюсь, Левка. Я изо всех сил постараюсь!

— Надо для этого открыть одну проблему...

— Чего?

— Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все ученые мира. Я жизнь положу, а открою.

— Какая она, Левка?

— Да с виду простая: бесконечна наша вселенная или конечна?

— А-а,— протянул Дюшка разочарованно.— Зачем это?

— Это ключ к тайне, будем ли мы после смерти жить или нет.

— Бесконечна... Вселенная... Ключ?

— Скажи: из чего я состою?

— Из костей, из мяса, как все.

— Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.

— Ну и что?

Левка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, вселенная, атомы, черт знает что!

— Атомов во мне очень, очень много, но все-таки число их конечно. Понимаешь?

— Нет, Левка.

— Я конечный, а вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.

— Тебе-то от этого какая выгода?

— Большая, Дюшка. Раз наша вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, на-

верия-ка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.

Левка замолчал, торжественно, изумленно, взволнованно смотря на Дюшку. А Дюшка подавленно задал все тот же, уже надоевший, вопрос:

— И что?..

— Как — что?! — воскликнул Левка с дрожью в голове. — Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?

— Нет, Левка.

И Левка сразу увял:

— Туп же ты, таракан.

— Ну, а я — после смерти?

— И ты тоже. — Ответ без энтузиазма.

— А другие?..

— И другие. Все. Я не исключение.

Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:

— Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я еще — согласен. А то все... Нет, что-то не то.

— Ладно, таракан, замнем этот разговор для ясности. — Левка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубаху.

Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Тайна, даже две маленькие — сколько прошел первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые завалящие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачиком и стал думать.

13

Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой крап купался в зеленом закате. Старуха Энобишина

снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность вселенной — кому, казалось бы, до нее какое дело! — нет, она обещает Левке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь шумно, как прежде, не столь звонко, по по-прежнему картово, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной веревочке, с ржаво-золотым глазом, дышащая желтым брюхом. Она, незваная, вошла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачниках, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если бы эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую прическу — не с завитками у висков, — с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братепеву внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи-в-кубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет прическу с локопчиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да Наталья Гончарова и Римка Братепева!.. И очень даже просто, Левка Гайзер все объяснил: атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее называли Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка нечаянно открыл сейчас ее секрет...

Левка Гайзер неизвестно еще появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В поселке Куделино! С Дюшкой рядом!

Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину. И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевшие-знакомая фигура Кольки Лыскова. В мягкой кепчонке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй... Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идет? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расстался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твердый нос — Санька Ераха, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неуемные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в не помрачневшем еще небе висели две-три бледные, невызревшие звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с повой жизнью, Наталья Гончарова с Братеневой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой, — Сапья. И за ту короткую минуту, пока Сапья медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка еще раз пережил открытие.

В его ли мире живет Санька? Он же знать не знает, что бледные звезды над его головой — далекие солнца с планетами, для него нет бесконечной вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живет рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки все не так, как вокруг Дюшки, — другой мир, несколько не похожий. Сейчас Сапья шагнет... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он налегке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?.. Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнес с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незванный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мертвый нос, тяжелое дыхание в лицо,

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днем-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитер бобер! Днем-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падлю! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-ти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильнее всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчущийся, неуклюжий, но все-таки человек пной, не мальчишечьей породы.

— Уймись, лучше уймись, не распускай руки!

И Санька отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Пролетится кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из-за угла!..

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал отгеснять Дюшку в сторону: — Идем отсюда, паренек, идем от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Еще встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провожу...

Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе, суевающийся в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты мое пойми, я — твое. А то на вот, с самого детства — прольется кровушка! Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятно и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям... Опять все не так, как вокруг Дюшки, — идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова... Неужели, сколько людей, столько и разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается какой-то настоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань всегда наготове в каждом лежит... Пуцу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю, — неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас, все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живешь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду.— И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть...

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошел, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А,— сказал он вяло, едва оглянувшись.— Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучше слов Дюшка не знал.

— Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?

Молчание.

— Может, он бьет тебя, Минька?

— Нет, что ты!

— И не пьет?

— И не пьет.

— И не ругается?

— И не ругается.

— Что тогда? Что?!

— Он... Он не такой, как все, Дюшка.

— А разве ты — как все? А я — как все? А Левка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?

— Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.

— Так не бывает, Минька.

— Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязачье: «Успокаивает». Иногда

мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятерней волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется большое сердце.

— Должна знать. Не проверила.

— Но у нее же воспаление легких!

— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:

— Охо-хо! Одна у всех голова и та на ниточке!

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:

— Мам, а я виноват?

— Ты?.. В чем?

— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.

— Нет, сынок, ты несколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем еще помочь, решился сказать:

— Мам, эта девочка, может, не совсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:

— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился.

А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не совсем. Ныне в царстве небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девчонка ожить еще может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать только, что вселенная бесконечна. Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец. — Кто тебе напел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл кто. Левка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э, нет. Дюшка не собирается подводить Левку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку.

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертии!

— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда.

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет — что ж... Потусторонним спасать себя не стану.

Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом — сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый, — сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец. — Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и зпать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно, — подтвердила Климовна. — Их-то атлас линнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошел Минька. В новешенькой куртке с «молнией», как у Левки Гайзера, — мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня... День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет — снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живет.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Левку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Левка... Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка знаешь кем была?

— Кем?

— Женой Пушкина.

— Д-дюш-ка!..

— Слышал, никому, секрет!

На столе стояло два торта — один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно — праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол, — потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного нугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, во все не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, внадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино — полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зу-

бах исчезла, он поежился и стал медленно клониться к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?..

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.

— Да... — сказал он. — Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.

— А я, сынок, — подняла рюмку мать, — пью за то, чтоб стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье,

— Что та-кое пор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчанье. Дюшка не клал локти на стол, улыбался угоками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, па этот раз глядя прямо на Миньку:

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин отец. — Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Мицька в своей новой нарядной куртке пригнулся к столу, прятал лицо. Мицькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Мицькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Мицькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.

— Ты клеветешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не запасаюсь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Мицькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних стенах. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные пезаживающие раны... В конце концов иступленная боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнется!

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилиц,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну изболешшееся!

— Мир?.. От тебя? Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Мицьку. — Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда

тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блеснули слезы, блеснули и не проливались, а отец Миньки съехался, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться,— сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.

— Люся, поедem отсюда... в город. Я снова поступлю в газету.

Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали топкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.

— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух на улице Жан-Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью вывороченных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильнее пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаясь бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.

- Значит, мамка плохая, Дюшка?
- А разве я говорил, что она плохая?
- Не любит же, виновата.
- А можно любить, если не любитя, Минька? Это все равно — пей воду, когда не пьется.
- Так мамка хорошая, Дюшка?
- Да.
- И папка хороший?
- Да.
- Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги!

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Высочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь среди беспокойных.

16

«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-те-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = X». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.

С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыба.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди со-рюка. Есть в пруду рыба, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... По икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?..

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время, подальше от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрым голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду = X». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил, Василий Васильевич.

— Час от часу не легче, — проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди со-рюка. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!.. — наконец подал он голос. — Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу. — Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе припаялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провалился сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятерка.

— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.

...Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошел Левка Гайзер:

— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.

Он вместо с Левкой откроет, что вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно открывает.

Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает навсегда.

Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» —

«Нет». — «Нагалья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистойшей прелести чистойший образец».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Мишьке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадется ей на глаза. Конечно, печаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистойшей прелести чистойший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улицы Жан-Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка параспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не снеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека — не хочет быстрее идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Мишьку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт-те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и запылся. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.

Римка с Левкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевертыши.

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич па пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешел в руки Вась-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?

Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вась-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распутившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось, — состоялась ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька по-пороссячи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, гадают. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его силоватый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней...

От Саиькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка...— Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость).— Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Оп тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пушу!»

Колька улыбочиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Сапька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбочивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить насмерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубины, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Оп таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить ножом взрослого. И ни разу оп, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней...

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная печесаная Сапькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевели-

лись, запереглядывались между собой п... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна п глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?... Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как пагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.

И смех толкнул... Всю выпошенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в печистую зелень глаз, в кривую, узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, по попал в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пестрые клочья: пацеленный серьезный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки... Дюшка палетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова палетал, снова бил... Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Мишки...

И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в грудь:

— Хва-тит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и... пришел в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глаза-стые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрый блеском в глазах оцупывал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается,— сказал он.

Дюшка не возразил и не почувствовал раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с немислимой высоты глядело па Дюшку темное лицо. Вася-в-кубе взял тяжелой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что-то тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.

Впереди кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело замороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг, и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит,— рубаха расплосована, окровавленец, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шарачаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Левку Гайзера...

...Окровавленную располосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синий бесформенный бугор. Оп-то и ощущался деревянным.

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастется. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь.

Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздычала:

— Ох-хо-хонюшки! Туной-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятерней волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжелое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть, как всегда, суетятся люди — сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шарахнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Левку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Левка хочет открыть бесконечность, и непонятно почему-то эта бесконечность обещает Левке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперед, глаза спрятались, глядят, словно из норы, настороженно, выжидательно, с тревогой, но, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадаются эдакие крученые кряжи, которые ни в строительный не занесешь, ни в крепежник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, по и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодно...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, по молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти вкривь и вкось, — продолжал отец. — Часто болтается среди людей эдакая нелепость — где ни приткнется, всем мешает, все его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, но всему видать — собрался с силами, хочет от души объяснить непутевому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братешева — шарханулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой заскрипел стулом, подался вперед, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пац, Богатов плохой, ну, а Санька Ераха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ереме. При чем тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?.. Черт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нем. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьет лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать. И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да

мне-то какое дело до этого?» Никому нет дела до того, что любит Санька. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давась словами, произнес:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?

— Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!

— Эй, что с тобой?

— Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьет и меня!..

— Дюшка, опомнись!

— Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что. Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка вскочил на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хо-чу!..

Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?

— Принеси стакан воды.

Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.

— Что с ним, Вера?

— Обычная истерика. Пройдет.

Мать никогда не теряла головы и сейчас ее голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили выпить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чем не думал. Все кругом стало каким-то далеким и ненужным — Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Левка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далекий из всех — он сам, пропащий человек.

Дюшкин кирпич лег на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зеленом сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в поселке Куделино вместе с повой школой. Казалось, ее где-то специально заготовили — для красивой, сияющей широкими окнами школы молодую, красивую директоршу с пышными волосами, громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах поселка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зеленом сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашен, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведет опрос Анна Петровна.

Подымается Левка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворенный Дюшкиным кулаком.

Левка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил — там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно, — зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И все это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Он таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вел себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетенно-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно все-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжелая... — охотно отозвался Колька. — Сзади по затылку — тят, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов, — спросила Анна Петровна, — скажи, только откровенно: для чего?.. Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдал:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал-подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крикнул, а одна из приглашенных на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдала из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты, — признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей, даже Санькиным. — На всякий случай, когда Санька полезет...

— Полезет?.. — переспросила Анна Петровна. — Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ерахова. Или на тебя паговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдавила из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крикнул еще раз.

Лежал перед всеми на зеленом столе рыжий кирпич — страшная, оказывается, вещь, им можно убить человека. Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саськи. И он, Дюшка, первым папал на Саську...

И сидел обиженно нахохленный Саська, чудом спасшийся от страшного кирпичика.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно понававший на разбирательство, Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскопчил на ноги и закричал толко, срываясь, словно петушок, впервые пробующий свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саську! Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом страдал!

И Саська взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Общайте! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саську:

— Ты все можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — завертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Саська и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну, чего?.. Никакого ножа... Вот смотрите, вот... — Саська начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Саська тогда па него не полезет, испуга-

ется. И верно, верно — Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька — трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелеными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зеленом столе. Все молчали, пораженные яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумленно выдохнула свое:

— Как-кой ужас!

20

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нем написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька все время рядом, на улице Жан-Поля Марата, ничего геройского в нем не было — самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыл грудью.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Мпнька, Минька...

...Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется Санька, пет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Мпнька нисколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька?» Убьет, ему что.

— Пусть прежде меня.

— По ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнем торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?!

— Кирпич хотел, по с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — нет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошел, Минька!

— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.

— Унеси, Минька, нож обратно.

— Нет!

— Силой, Минька, отберу!

— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.

— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поежился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой буду без ножа. А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрям.

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с темным губастым лицом сплавщик, одетый по-праздничному в темно-синий в полоску костюм, в галстук, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.

Гринченко пришел в гости к матери, но разговор вел лишь с отцом.

— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек, Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сживали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдейное. И вот из-за меня, из-за безыдейного, эта женщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическим образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьезно соглашался:

— Что есть, то есть, не отыметь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди богородицу хвалили. А за что, позвольте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко богородица с эдаким, как я, понянчится. Не радп бога великого, чтоб потом аллилуйю многие века петь, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отвалят или награду золотую на грудь. Тут тебе богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан, — наставительно отвечал отец. — А старые суеверия мы жизнью бьем не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Федор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только требуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должен соответственно, не расплясываясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я еще проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверное, вас еще надолго хватит.

— Сколько ни проживу — все людям. Осветили вы мне путь, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать? Вот было бы счастье. Не сумею, поди, — мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасенный матерью от смерти человек пойдет на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В легком платице в клеточку, в темных волосах солнечной каплей цветок мать-мачехи, и курчавинки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...

Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своем костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нес в себе свое спасенное здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрел способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нем то, чего сам Гринченко и не подозревал: слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцеленным духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка вгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересек двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскочил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

— Вера Николаевна!

— Что?..

— Ножом...

И Дюшка все понял, Дюшка закричал:

— Минь-ку-у!

— Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что?..

— Санька — Миньку! Санька — Миньку!!

— Дюшка, помолчи! Где он?

— В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!

— Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

22

Они вдвоем сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери. А он мне — Санька убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.

— Черт! — Отец это слово произнес без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием. — Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Больной он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Левка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да нипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм... У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно vorочает лес,

выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает...

— Пап, и Левка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Левкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачки не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого урода еще и оправдать могут.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверно, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а напал-то Минька.

Дюшка обмер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя приносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — суцая правда, это — сама жизнь. И вот суцая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Все зыбко, все ненадежно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчетливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог поднять над поселком огромный многотонный кран, помочь ему был бессилён. А хотел бы, страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап, — произнес Дюшка сколовшимся голосом, — неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.

И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперед, взял в широкие теплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват, если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разлиvisto зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так... Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так, они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну, хорошо, Вера, ну, хорошо. Я передам, я все ему передам.

И положил трубку обратно.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!

— Дает кровь твоя мать. После этого ее сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать ее только к утру.

— Я знаю, знаю — мама спасет Миньку!

— Спасет, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну пееет!.. За Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.

— А Минькин отец?

— Отправили домой. Нельзя же всей семьей торчать в больнице.

— Пап!.. Пап, ему плохо.

— Да уж можно себе представить.

— Пап, я сбегаяю, позову его сюда.

— Зачем?

— Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегаяю, можно?

Отец снова с прежним серьезным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:

— Зови. А я тут пока чай организую.

23

За столом встретились два отца, более несхожих людей в поселке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки: Федор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоряжается, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ширококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовет его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба...

И вдруг передернулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлебываясь:

— Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паяц! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения.

— Идемте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Страпная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умен ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружины в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, по шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самоиительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю — камешком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным поденщиком, править статьи о силосе, о навозе — нет! Мне же «уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предназначено «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненные рифмованной пачкотней, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и начкал бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы серы, сыры, стерты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передергивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, все-таки... — произнес он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смешком:

— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и ее и сына... Они же связаны со мной. Я любил ее: складки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыбку, ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И ее я топил!..

Дюшкин отец крикнул и почему-то виновато глянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— Я рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко мне придет слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. Писал в последнее время только о ней, только ее славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у нее появляется мания, идея фикс — побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

• Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией ша-рахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.

— Хватит тянуть камнем.

— Это верно.

— Пора освободить их от себя.

— То есть как это освободить?

— Не все ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

— Опять! — с придыханием.

— Что — опять, Федор Андреевич?

— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой. А может, в середке зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?.. Э-э, Федор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — складки платья, усталость даже... И не просто, а с форсом — мол, вот я какой самоотверженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Но что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!

— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо

глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с женой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Федор Андреевич!

— Молчи уж! Право слова потерял!

— Не трогайте ее, Федор Андреевич!

— Не бойсь, плохого не сделаю!

— Пап! — подал голос Дюшка.

— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь?

— Пап! Тебя просят — не делай!

— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так — она просит, ты не слышишь.

— Ты — что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, остывающее недовольство, наконец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим, — сказал отец.

Дюшка поднялся, подошел к Богатову:

— Если Мипьке еще кровь нужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Федор Андреевич.

— Минька лучше меня, — убежденно возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три

месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шарить, себя ищешь...

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.

Он выскользнул из-под одеяла:

— Мама!

Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Все хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше. Где отец?

— Он уехал, мам. Еще вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, пронзесла:

— Опять у него какую-то запасть прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Сашки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой навалается.

О Мишьке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не спимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так пужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу и — порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел небедно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я... — Отец подмигнул Дюшке. — Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.

— Mam, что там?

Она осторожно освободила от мятой газеты букет — первно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.

Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал... Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрыв рты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взахлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово... А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старипный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно, уберут из поселка, Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жан-Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрей пет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна, еще и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька,— сказал ему Дюшка при первом же посещении,— мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.

Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой тепниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми респицами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения. Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоём кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.

— А мне, Левка, совесть и совсем покою не дает — ни за что ни про что тогда тебе заехал.

— Все ясно, старик... Я тут пад твоими кошкыными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перепестись... Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живет, наверно, еще не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдешь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Левка, такое открыл...— И Дюшка запнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке.— Открыл, что одна девчопка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Левка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда,— серьезно возразил Левка.

— Ты и про кошкины секунды говорил — ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял — бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение, и миллион!

— Все равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве не может такого?

Левка замаялся, кисленько замаямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Все-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться?

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Левка не Мишенька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушной, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а.— Голос у Левки не дрогнул.— Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.

25

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Мишеньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, по какое это имеет значение?

Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По нескольку раз каждый день.

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцей, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она несколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться...

Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Левка... Я это знаю, Римка...

Левка хороший парень. Очень! Он лучше меня... знаю...

И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже рад, Римка... потому что не кто-нибудь, а Левка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, маперно — и так тебе и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула поском туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:

— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опущенному румянцу.

Слеза не по нему. Слеза пролита по другому — счастливицу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он

еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбилося оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюпку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.

1973

Ночь после выпуска

1

Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.

В спортзале, этажом ниже, слышно было — двигали столы, шли последние приготовления к банкету.

И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной взрослостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя — именинники на своих именинах всегда гости больше других гостей.

Директор школы Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог...» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной, — Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны...» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам, Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» — характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью, — Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным углубляться. И уже последними — все прочие, безымянные, «которым школа

желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Сократ Онучин оказались в числе их.

Юлечке Студёнцовой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто, как не она, должен поблагодарить свою школу — за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невольно унесет каждый.

И она вышла к столу президиума — невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, па точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.

— Мне предложили выступить от лица всего класса, я хочу говорить от себя. Только от себя!

Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали дежурное терпеливое внимание.

— Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный. — Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.

— По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому пенравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!

Юлечка постояла, глядя птичьими тревожными глаза-

ми в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.

— У меня все,— объявила она и мелкими дергающимися шажочками двинулась к своему месту.

2

Года два назад был спущен запрет — в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять па столы вино.

Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер — порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».

Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал... Вещий Олег потребовал...» — всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне вынче удалось убедить членов родительского комитета — бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в горно.

Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристоен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.

Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Подымались тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица — празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.

И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья — охлаждающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связанно. К ней время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов — выражал свою солидарность — и убегал.

Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.

Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.

Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:

— Наточка! Вера! Да господи!

И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.

— Господи! Какие вы у меня большие!

Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.

— Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!

«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетний давности урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.

— Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая...

Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали — от радости.

— Нина Семеновна, давайте выпьем на брудершафт! Чтоб на ты, — предложила Натка Быстрова.

И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.

— Нина, ты... ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!

— Наточка, а какая ты стала — глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей... А Юлечка... Где Юлечка? Почему ее нет?

— Юлька! Эй! Сюда!

— Да, да, Юлечка... Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были...

Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов,

— В физике произошли подряд две революции — теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?

— Ошибаешься, дружок: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент — астрономию. Астрофизики что ни год — делают сногшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии...

Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает — преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.

Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами — лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:

— Наша альма-матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет... Нет! Не выкинет из памяти школу!

Против негодующего Васи — ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно — рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.

— Перед своим высоким начальством я скажу...

— Бывшим начальством, — с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.

— Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым... Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили — думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил...» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой...

Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной

речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему — снисходительно улыбаются. И переглядываются.

Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович — над безмятежно чистым лбом несолидный коровий залыз, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:

— Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрелкнуть у вас сигарету.

— Я не курю, Онучин.

— Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется, — до сегодняшнего дня.

И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше — сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.

Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.

Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали — ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.

Дошло дело до фокусов — значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девочки сбивались по углам, шушукались голова к голове.

Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:

— Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?

— Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?

— И Генка, и Натка, и Вера Жерих... Где твои гусли, бард?

— Гусли здесь, а ты приготовил пушечное ядро?

— Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.

— У меня лично возражений нет, фратер.

Учителя один за другим потянулись к выходу.

3

Большинство учителей разошлось по домам, задержались только шесть человек.

Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало наревала почва. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимой, — жалкий, стертый след минувшей весны.

Снизу все еще доносились звуки танцев.

Ольга Олеговна имела в учительской свое пасиженное место — маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.

Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостя — в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить по о чем, что какие бы то ни было прения неуместны — время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна уселась за длинный, через всю учительскую стол, — натянуто-прямая, со вскинутой седой головой... снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант — оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота но придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости — домашняя женщина, любящая уют, — и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настождаться.

— Ну так что скажете о выступлении Студёнцева? — спросила Ольга Олеговна.

Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:

— А, собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.

— За наши труды нас очерединой раз умыли, — сухо вставила Зоя Владимировна.

Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:

— Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?

— Если считать, что черная неблагодарность — ничего особого, — съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу. — И самое обидное — одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!

От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:

— Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я... Я не встречала таких детей... Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее... Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!

— А мне кажется, произошло нечто особенное, — чуть возвысила голос Ольга Олеговна.

Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.

— Юлия Студёнцева — наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не повод для тревоги?

Громящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо — Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.

4

Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке — «пушечное ядро». Сократ Опучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.

Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка — городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината — бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.

Это экзотическое название произошло от весьма обычных слов — «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладе комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение — поощрять частную застройку. Выделили место — в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома — то тян-ляш на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски-добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселились в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище перекачи-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаянье милицию.

Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух — он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни — Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка — слава города, защитник слабых и обиженных.

Игорь Проухов — лучший друг Генки. И, наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в

которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихины, а потому штаны цветут немислимими цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»

Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось — гений! На картинах Игоря деревья сладкорозовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы респично-глазастые.

И еще славец Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье — это наказание, а горе — благо, ложь правдива, а черное — это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!

Натка Быстрова... Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед — посторонись!

Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка — этого никто не разберет. Сам Генка тоже.

Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальжжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» — в устах Сократа Олучина это высшая похвала.

О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обличью и по вывеске — папину фамилию округила с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид — аптик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился отрастить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на немойтой шее девичью цветную косынку, па груди — амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суетливо вертляв — лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с

веселыми, без ресниц глазками. Неиревзойденный исполнитель песен Высоцкого.

Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга — всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору...

Шестой была Юлечка Студёнцева.

Сократ кривлялся, выдавал под гитару о жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в антилопу:

Поднялся тут галдеж и лай,
И только старый попугай
Кр-р-рык-нул из ветвей:
«Жыр-раф-ф бал-шой,
Яму вид-ней!..»

Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несла суровое каменное личико.

Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:

Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой
Базав Борис Андреевич — рядовой
Бугырин Василий Георгиевич — старший сержант...

И так далее, тесно друг к другу, двумя столбцами.

Нет, воины пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди здесь когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу — могила без покойников, каких много по нашей стране.

Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотребной тьме. Там, за рекой, — болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыханье над крышей далекого вокзального здания — огни, огни, огни, целая звездная галак-

тика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров — обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.

Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой, Базаев...» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым зайцем — обхохочешься. Мир с мороженым, пескάρями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девочек, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне... Война — далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, гражданская. И революция. А раньше революции правила цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны... Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.

Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью — лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, папирающая на обрывистый берег.

Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.

Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».

— Фратеры! Пьем по очереди кубок мира.

Игорь скромно попросил:

— Если нет возражений, то я...

Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля,— провозглашать первый тост.

Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.

— Давай, Цицерон!— подбодрил Генка.

Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенных скул — рубленый нос, крутые салазки в темной дымке — зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную ябкость.

— Друзья-путники!— с пафосом провозгласил он.— Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..

Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен — бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:

— Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-ода!

Это Игорю и было надо — точку опоры.

— Этот гейдельбергский человек хочет свободы!— возвестил он.— А может, вы все того же хотите?

— А почему бы и нет,— осторожно улыбаясь, подкинул Генка.

— Для всех свободы или только для себя?

— Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.

— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?

В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:

— Знаете ли вы, невежи, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины пет и быть не может!

— Ты, конечно, хочешь подчинять?— спросил Генка. Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы.— Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один настоянный оппонент.

— Кон-нечно,— с величавой снисходительностью согласился Игорь.— Подчи-нять.

— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Кай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись — можешь проломить голову.

— Ха! Слышишь, народ?— Нос Игоря порозовел от удовольствия.— Все лп здесь такие простаки, что считают — кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!

— Виват Цезарю с палитрой вместо щита!

— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас... Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в ключья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вамп, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радуется нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти...

— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?

— Может,— согласился Игорь спокойно и важно.

— И что тогда?

— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное,— сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.

— Вот это я как-то себе отчетливее представляю.

Игорь вознес над головой стакан.

— Я, бывший раб школы помер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!

Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:

— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?

Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:

— За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я вынюю не с тобой.

И он шагнул к Натке.

— Пью за власть! Да! За власть над собой!..— Генка вынул до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку.— Сократ! Наполни!

Но Сократ скупенько плеснул до половины — девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.

— Ну, Натка...— попросил Генка.— Ну!

Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.

— Натка, ну!

Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.

Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:

— Когда-нибудь, Гена, за власть... Не за свою. За чью-то... над собой. Сейчас рано. Сейчас...— вскинутый стакан в белой струящейся руке.— За свободу!

И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.

Генка сразу поскутчел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттенок — столь же снисходительное сочувствие.

А Сократ уже хлопотал возле Веры.

— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.

— Не стесняйся, мать, не стесняйся.

— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.

— За них, мать, за них хлебай. Приходится.

— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.

— Виват, мать, виват! Честный загибон... Юлька, твоя теперь очередь... Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!

Юлечка прижала стакан, долго разглядывала черное вино.

— Власть...— произнесла она,— Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься пере-

нять — живи по-мышинному, сильный давит слабого?.. Не хочу!

Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему. Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.

— Гена... — подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом. — Вот я сегодня перед всеми... призналась: не знаю, куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным...

Генка растерянно молчал.

— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?..

Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех откровение Юлечки — неожиданность.

А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.

Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.

— Ладно, Гена... — Замороженный голос. — Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сребою, не дрогну...

И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.

— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону. — Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилось? Или просто не нужна?.. По поч-чему?!

Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:

— Юлеч-ка!.. Тебя кто-то за ручку... Да зачем? Ты сама других поведешь.

Игорь со стороны обронил:

— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали. Сократ засуетился:

— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!

— Не надо. Уже все...

Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.

— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твое счастье,

которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться... Завидую. Не скрываю. Потому и пью...

Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.

5

Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.

Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.

Ее родная деревня, холщовая и ланотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостного писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли барином, и спившегося дьячка-расстрпгу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.

В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принялся не только за детишек, но и за взрослых, вошло в уличный быт новое слово «ликбез».

Детишки быстрее баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».

Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенок — его надлежало сделать школой.

Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся жениться на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна — Зоя Владимировна.

После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабский поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые,

светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала самым ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.

Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей добросовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.

И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось, выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались, пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорить по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»

Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе, — только для учеников! А ученики забывают о ней, не успев переступить порог школы. Так ради чего она бьется как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?.. Не хочется жить.

Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.

Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — попривыкла за много лет. Но вот неуважение к школе... Выступление Юлии Студёнцевой казалось Зое Владимировне чудовищным. Если б такое отмочил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славил хором и поодиночке, умилялись — предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги...»

Зоя Владимировна оборвала молчание.

— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна, — с нажимом, с приглушенным недоброжелательством, — что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?

И Ольга Олеговна искренне удивилась:

— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала что думает?

— Я вижу тут только одно — илевок в сторону школы.

— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда податься, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.

— Вольно же ей.

— Ей?.. Только она, Студёнцева, такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?.. Да мы можем назвать из всего выпуска, пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.

— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.

— Вы никогда не требовали от учеников — заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нравится? Вы не заставляли — уделяй не нравящемуся предмету больше сил и времени?

— Да, ребятам нравится собак гонять на улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.

— Что же... — проговорила Ольга Олеговна. — Придется объясниться начистоту.

— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!

— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к выводу — своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.

— К-как?!

— Очень извиняюсь, но это так.

— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!

— Попробую сейчас доказать. — Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устройю вам коротенький экзамен?

Директор устало опустил на стул: он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.

— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?

— М-м... Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.

— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?

— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно...

— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — луч света в темном царстве?

— Да боже упаси, — вяло отмахнулся директор.

И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:

— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять, процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас... Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?

У Зои Владимировны на увядшем лице проступили мученические морщинки.

— Я напрасно преподаю... — выдавила она с горловой спазмой.

— До недавнего времени и я так думала, — не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.

— Странно... Теперь не думаете?

— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество его последствия.

Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.

— /Преподаю неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме — знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забудь то, на что ты больше всего способен. Получается: мы плодим невнимательных к себе людей. Ну, а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.

У Зои Владимировны побелели тонкие губы.

— И на меня... — тихо, с внутренней дрожью. — Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я боль-

ше всех виновата! А может, вы... вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому, как не вам, и карты в руки?

— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У вас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны — устаревшие программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет!

— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?

— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность... Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну а если водкой... Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати — восемнадцати лет среди бела дня на автобусной остановке пырнули ножом жепщину. Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.

Директор досадливо крикнул:

— Ну, знаете ли!

— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?

— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.

— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика Сергея Нетухова милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! Но к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товарищи дурные сбили с пути? Но эти товарищи, как оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?

Иван Игнатьевич ничего не ответил, смотрел в пол, сосредоточенно сопел. Нина Семеновна глядела на Ольгу Олеговну от дверей остановившимися глазами. Физик Па-

вел Павлович хмурился и курил. На искалеченном шрамом лице математика Иннокентия Сергеевича подергивался живчик — верный признак, что взволнован.

Зоя Владимировна в общей тишине медленно-медленно поднялась со стула.

6

Юлечка Студёнцева вынила за Наткино счастье, и Натка не возразила, не фыркнула в ответ — приняла. А раз так, то стоит ли расстраиваться, что она, Натка, не поддерживала его, Генки, тост. Просто, как всегда, показывает норов, дурит. Пусть себе...

И Генка освобожденно оглянулся.

Перед ним стояли товарищи. Все они родились в один год, в один день пришли в школу, из семнадцати прожитых лет десять знают друг друга — вечность! И Генка вспомнил шуплого мальчишку — большая ученическая фуражка, налезавшая на острый нос, короткие штанишки, тонкие поги с исцарапанными коленями. Это Игорь Проухов, начавший теперь уже обрастать бородой. Помнит, и хорошо, Сократа Онучина: мелкий выюн, пискляв, шумен, совался постоянно под руку, а в драках кусался. И Юлечку помнит, она, кажется, и не изменилась, даже подросла не очень — была серьезная, такой и осталась. А вот Патку, как ни странно, в те давние времена, в первый год учебы, Генка совсем не помнит. Веру Жерих тоже... Трудно поверить, что Натка долгое время могла не замечаться.

Перед Генкой стояли его товарищи, и только теперь он остро почувствовал, что скоро придется расставаться, иные люди войдут в его жизнь, иной станет сама жизнь. Какой?.. Кто знает эту тайну тайн. Сжимается сердце, но нет, не от страха. Генка привык, что все кругом его самого побаивались и уважали. Тайна тайн — в неизвестном-то и прячутся неведомые удачи. Странно, что Юлька Студёнцева — тоже ведь удачлива! — сегодня какая-то перекрученная. В понутчики вдруг навязывалась... Генка был благодарен Юлечке и жалел ее.

— Это хорошо же, хорошо! — заговорил он с силой. — Тысячи дорог! На какую-то все равно попадешь, промашки быть не может. Ни у тебя, Юлька, ни у меня, ни у Натки... Вот Игорю труднее — одну дорогу выбрал. Тут и промахнуться можно.

— Старичок! Без риска нет успеха! — отбил Игорь.

Юлечка с горячностью возразила:

— Даже если Игорь и промахнется... Тогда у него будет, как у нас, те же тысячи без одной дороги. Счастливей, как все. Он что-то не хочет такого счастья, и я не хочу! Хочу тоже рисковать!

— Человек — забыли, фратеры, — создан для счастья, как птица для полета! — провозгласил важно Сократ. — Лети себе куда несет. — Он забренчал: — Эх, но морям, морям, морям! Нынче здесь, а завтра — там... Вот так-то!

— Птица-то и против ветра летает, — напомнил Игорь. — А ты не птица, ты пушинка от одуванчика.

— Пушинки-то с семечком. Куда ни упадем — корни пустим... — Генка с хрустом потянулся. — И вы-рас-тем!

— На камни может семечко упасть, — напомнила Юлечка.

Натка молчала, как обычно, с невозмутимостью, застыв в отдыхающей позе — вся тяжесть литого тела покоится на одной ноге, рука брошена на бедро. Она лениво пошевелилась, лениво произнесла:

— Летать. Мыкаться. Лучше ждать.

Вера вздохнула:

— Тебе, Наточка, долго ждать не придется. Ты, как светлый фонарь, издалека видна, к тебе счастье само прилетит.

— Какие мы все разные! — удивилась Юлечка.

Сократ неожиданно с силой ударил по струнам, заголосил:

— За что вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват!.. Праздник у нас или панихида, фратеры?

— И то и другое, — ответил Игорь. — Погребаем прошлое.

Вера Жерих снова шумно вздохнула:

— Скоро разлетимся. Знали друг друга до донышка, сроднились — и вдруг...

— А до донышка ли мы знали друг друга? — усомнился Игорь.

— Ты что? — удивилась Вера. — Десять лет вместе — и не до донышка.

— Ты все знаешь, что я о тебе думаю?

— Неужели плохое? Обо мне? Ты что?

— А тебе не случалось обо мне плохо подумать?.. Десять же лет вместе.

— Не случалось. Я ни о ком плохо...

— Завидую твоей святости, мадонна. Генка, ты мне друг,— я всегда был хорош для тебя?

Генка на секунду задумался:

— Не всегда.

— То-то и оно. В минуты жизни трудные чего не случается.

— В минуты трудные... А они были у нас?

— Верно! Даже трудных минут не было, а мысли бывали всякие.

Юдечка встрепенулась:

— Ребята! Девочки!.. Я очень, очень хочу знать... Я чувствовала, что вы все меня... Да, не любили в классе... Говорите прямо, прошу. И не надо жалеть и не стесняйтесь.

Глаза просящие, руки нервно мнут подол платья.

Генка сказал:

— А что, друзья мы или нет? Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого.

— Не выйдет,— заявил Игорь.

— Не выйдет, не подружили до откровенности?

— А если откровенность не понравится?..

— Ну, тогда грош цена нашей дружбе.

— Я, может, не захочу говорить, что думаю. Например, о тебе,— бросила Генке Натка.

— Что же, неволить нельзя.

— Кто не захочет говорить, тот должен встать и уйти! — объявила Юлечка.

— Об ушедших говорить не станем. Только в лицо! — предупредил Генка.

— А мне лично до лампочки, капайте на меня, умывайте, только на зуб не пробуйте.— Сократ Онучин провел пятерней по струнам.— Пи-ре-жи-ву!

— Мне не до лампочки! — резко бросила Юлечка.

— Мне, пожалуй, тоже,— признался Игорь.

— И мне...— произнесла тихо Вера.

— А я переживу и прошу, если скажете обо мне плохое,— сообщил Генка.

— Прощать придется всем.

— Я остаюсь,— решила Натка.

— Будешь говорить все до донышка и открытым текстом.

— Не учи меня, Геночка, как жить.

— С кого начнем? Кого первого на суд?

— С меня! — с вызовом предложила Юлечка.

— Давайте с Веры. Ты, Верка, паинька, с тебя легче взять разгон,— посоветовал Игорь.

— Ой, я боюсь первой!

— Можно с меня,— вызвался Генка.

— Фратеры! — завопил плачуще Сократ.— Мы же собрание открываем. Надоели и в школе собрания!

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!
Дайте похмельным кваса,
Авось они перебьются!

— Заткнись!.. Ничего не таить, ребята! Всем нараспашку!

— Собрание же, фратеры, с персональными делами! Это надолго! Вся ночь без веселья!

Генка встал перед скамьей:

— Господа присяжные заседатели, прошу занять свои места!

Генка нисколько не сомневался в себе — в школе его все любили, перед друзьями он свят и чист, пусть Натка услышит, что о нем думают.

7

Зоя Владимировна поднялась со своего места, иссушенно-плоская, негнущаяся, с откинутой назад седой головой, на посеревшем, сжатом в кулачок лице — мелкие, невнятно поблескивающие глаза.

— Вы против школы поднялись, Ольга Олеговна, а с меня начали. Не случайно, да, да, понимаю. И правы, трижды правы вы: та школа, которой вы так недовольны сейчас, та школа и я — одно целое. Всю школу, какая есть, вам крест-накрест перечеркнуть не удастся, а меня... Меня, похоже, не так уж и трудно...

Ольга Олеговна не перебивала и не шевелилась, сидела в углу, подавшись вперед, глазницы до краев залиты теньями. И шелестящий голос Зои Владимировны:

— Вы, наверное, помните Сенечку Лукина. Как не помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе по два года отсидивал и всегда норовил на третий остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Студёнцева была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадам, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сепечка

у меня вырвал. И сердилась на него и жалела... Да, да, жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех слов без ошибки не напишет, страницу прочитает — потом оболбешется от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его... Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, нальтецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить...» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох как я устала! Нет достатка, нет покоя. И уважения тоже... Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу людям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли через мои руки, разума набрались. Считают, для человека самое страшное быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут, бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня убить собираетесь, на всем крест ставите!

Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.

— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! — придушенно воскликнула Зоя Владимировна.— Поглядите на меня, поглядите внимательней! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Глядите — не ваши ли это портрет?

Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.

— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!

Она еще раз приложила к глазам скомканный платок

чек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.

— Будьте здоровы.

И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.

И никто не посмел ее остановить, молча провожали глазами... Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятенным и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.

8

На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.

И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.

Если б он сел вместе со всеми, находился в общей кухне — быть может, все получилось бы совсем иначе. Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранней. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.

Все поглядывали на Игоря, он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому, как не ему, первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:

— Я пас. Сперва послушаю.

И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно глядела в сторону.

— Я скажу, — вдруг вызвалась Вера Жерих.

Странно, однако, — Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кого-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решилась! — уселись поплотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.

— Геночка, — заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо, — знаешь ли, что ты счастливчик?

— Ладно уж, не подмазывай патокой.

— Ой, Геночка, обожди... Начать с того, что ты счастливо родился — напа у тебя директор комбината, можно

сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, ста, велосипед старый не правится — покупают другой. Счастливики от роду.

— Так что же, за это я должен покаяться?

— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но... Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.

— Говори. Стерплю.

— Так вот ты, Гепа, черствый, как все счастливые люди.

— Да ну?

Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой, — а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.

— Гони примерчики! — приказал он.

— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.

— Вера, ты же у нас одна такая... любвеобильная. Не всем же на тебя походить.

— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выдержишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней и самостоятельней. Но ты и па Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?

— Уточним, старушка, — перебил Сократ. — Не выгнала, а сам ушел, отстаивая свои принципы.

— У кого ты ночевал тогда, Сократ?

— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр — портрет хиппи.

— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.

— Для меня там не совсем комфортабель.

— То-то, Сократик, не комфортабель. Трудно даже представить тебя Генкиным гостем. Тебя — пчесапого, немытого.

— Н-по! Прошу без выпадов!

— Ты же несчастенький, а там дом счастливых.

— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?

Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог — въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость... На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и... завелась. Что с ней?

— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?

— Ну, старушка забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.

— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над твоей вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю почевать сунулся! Ну, знаешь...

— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода...

— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!

— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомнишь! Как же, велосипед загпал, не пожалел для товарища... Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнесся? Ты же выругал бедного Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рублику собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех... Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоило сделать благородный жест — на, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел. Пужен был новый — гоночный...

И ударила кровь в голову, и въедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:

— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!

Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:

— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб все откровенно...

И замолчала.

Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает. Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.

— Ложь! — выкрикнул Генка. — До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!

И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось — по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славу, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.

— Кончим эту кашитель, ребята, — вяло произнес Игорь. — Переругаемся.

Кончить? Разойтись? После того, как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Верка надута. И настороженно, выжидающе блестят с бледного лица глаза Юлечки Студёнцевой... Кончить на этом, согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!

— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы. — Уж пет... Не кончим!

Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:

— Тогда уговоримся — не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.

— Я больше не скажу ни слова! — обиженно заявила Вера.

Генку передернуло: наговорила накости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку...

Генка до сих пор жил победно — никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — целовко, хоть провались!

— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.

Генка повернулся к пей с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!

— Не навестил больную, не пригласил почевать бездомного Сократа, старый велосипед... Какая все это мелочная чушь!

Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал — зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже

ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!

— Я верю, верю — ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожалеешь... — Блестящие глаза в унор. — Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но... Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к примеру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя — благородным! Ты так себе правиться любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры... Ты светлячок, Гена, — красиво горишь, а греть не греешь.

Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу — усталое, безразличное.

— Это ты за то... отказался в Москву с тобой?.. — с трудом выдавил Генка.

— Думай так. Мне уже все равно.

Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.

Он взял себя в руки, придушенно спросил:

— Ты это раньше... что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?

— Давно поняла.

— Так как же ты... в Москву?..

— За светлячком можно в чашу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь, — не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.

Ночь папирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый... Светлячок, надо же!

Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:

— Игорь, давай ты.

— Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.

— Спасает, благодетель?

— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.

— Режь, не уваливай.

— Н-да-а.

Игорь Проухов... С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядеть, без вины оболган, заклеямен даже — светлячок, надо же... Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбил Веру, возразил Юльке — а Игорь может, ему нетрудно, — то все сразу бы встало на свои места.

Но просить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:

— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.

Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается...

Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:

— Не пожалелось?.. Само собой. Что ж...

9

За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.

Скрипнув стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насунленно-строгий и замкнутый:

— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!

У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.

— Мне очень жаль, что так получилось.—Голос сухой, без выражения.

— Не сочтите за труд извиниться перед ней.

Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд... Смею надеяться... Позвольте рассчитывать...»

— Извиниться? За что?

Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.

— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!

— Мне жаль... Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.

— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.

— А разве она сейчас сама не призналась в этом?

— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?

— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — луч света в темном царстве. Сорок лет одни и те же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обесмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем — любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны... Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!

Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза за кустистыми пшеничными бровями.

— Но она еще была преподавателем и русского языка, научила тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.

— Научить правильно писать слово — и отучить его

любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.

— Странный вы человек, Ольга Олеговна,— огорченно произнес Иван Игнатьевич.— Вдруг взорвались — готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.

— Вдруг?.. Неужели для вас выступление Студёнцевой неожиданность?

— Да уж признаюсь: от любого п каждого ждал коленца, только не от нее.

— И вы считали, что у нас в школе все идеально, не пужно освобождаться от старых навыков?

— Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.

— Но тогда придется освободиться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.

— Освободиться от Зои Владимировны?.. Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?

— Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?.. За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.

Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.

— Мне кажется, вы собираетесь выправить накрепившуюся лодку, черная решетом воду,— сказал он с досадой.

— То есть?

— То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:

— Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.

Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Репшиков.

— Что ты хочешь этим сказать, Павел?— спросила Ольга Олеговна.

— Хочу сказать: врачу — излечися сам!

— Ты считаешь, что я?.

— Да.

— Зои Владимировны?..

— В какой-то степени.

— Объясни.

И Репшиков поднялся, нескладно высокий, крепко костистый, с апостольским пушиком над сияющим черепом, лицо темное, азиатски-скуластое, плоское, как глиняная чаша.

10

Игорь Проухов сидел на скамье и целился твердым носом в Генку — всклокоченная шевелюра, светлое чело, темный подбородок.

— Тебя тут по-девичьи щипали. Вот Юлька сказала: прокаженного через дорогу не переведет, для себя горит, не для других. А кто из нас в костер бросится, чтоб другому тепло было?

— Может, я брошусь,— отозвалась Юлечка.

— Готов встать перед тобой на колени... За негорючесть я тебя, старик, не осуждаю. Считаю: если уж гореть до пепла, то ради всего человечества. Почему я, или кто другой должен собой жертвовать ради кого-то одного, хотя бы тебя, Юлька? Что ты за богиня, чтоб тебе — человеческие жертвоприношения?

— А я не жертв вовсе, я отзывчивости хочу. За отзывчивость, даже чуточную, я сама собой пожертвую.

— Э-э!— отмахнулся Игорь.— Сама хоть с крыши вниз головой, лишь бы вовремя схватили, не то ушибиться можно. Верка лучше Генку нащупала: баловень судьбы, любое дается легко.

— Уж и любое,— усмехнулась молчаливая Натка.

Генка вздрогнул, кинул на Натку затравленный взгляд.

— Допускаю исключения,— с едва проступившей улыбочкой согласился Игорь.

И Генка вскипел:

— Красуешься, философ конечный! Хватит. По делу говори!

И призрачная улыбочка исчезла с лица Игоря.

— Может, не стоит все-таки по делу-то? А?.. Оно не очень красивое.

— Нет уж, пачал — говори!

— Дело прошлое, я простил тебя — ворошить не хочется.

— Простил? Нужно мне твое прощение!

— Тебе не нужно, так мне нужно. Как-никак много лет дружили... Догадываешься, о чем я хочу?..

— Не догадываюсь и ломать голову не стану. Сам скажешь.

— Учти, старик, ты сам настаиваешь.

— Цену себе набиваешь!

— Ладно. Почему не уважить старого друга... Почтеннейшая публика, мы с ним часто играли в диспуты, и вы нам за это щедро платили — своим умилением...

— Хватит кривляться, шимпалзе!

— Мой друг бывает очень груб, извиним его. Грубость баловня судьбы: я, мол, не чета другим, я сверхчеловек, сильная личность, а потому на дух не выношу тех, кто хоть чуть стал поперек...

— Сам ярлыки клеишь, обзываешься, как баба в очереди, а еще обижаешься — груб, извиним!

— Мы обычно спорим на публику, но однажды скле-стнулись с глазу на глаз. Он стал свысока судить о моих картинах, а я сказал, что его вкусы ничем не отличаются от вкусов какого-нибудь Петра Сидорыча, который не морщится от кислой банальности. И, представьте, он согласился: «Да, я — Петр Сидорыч, рядовой зритель, то есть народ, а ты, мазилка, антинароден». Я засмеялся и сказал, что преподнесу ему на день рождения народную картину — лебедей на закате, и непременно с надписью: «Ково люблю — тово дарю!» Он надулся и, казалось, ничего особенного, все осталось как было — ходили по школе в обнимочку.

— Вот ты о чем!.. О выступлении...

— Да, о том. Должна была открыться выставка школьного рисунка. Не у нас — в областном Доме народного творчества. Событие! С этой выставки лучшие работы должны поехать в Москву. Хотелось мне попасть на эту выставку или нет?.. Хотелось! И он это знал. Но... Но выступил на комитете комсомола... Что ты там сказал обо мне, Генка?

— Сказал что думал. Хвалить я тебя должен, если у меня с души прет от твоих работ?

— Но при этом ты ходил со мной в обнимочку, показательно спорил, играл в волейбол... И ни слова мне! За моей спиной...

— А что я мог тебе сказать, если и сам не знал, о чем пойдет речь на комитете...

— За моей спиной ты продал меня!

— Я говорил только то, что раньше... Тебе! В глаза!

— Нет, мне передали: ты даже растленность мне вклеил... В глаза-то говорил иообкатанней, боялся — отобью мяч в твой же ворота.

— А тебе не передали, что я талантливym тебя называл?

— Вот именно, чтоб легче подставить ножку... Ходил в обнимочку, а за пазухой нож держал, ждал случая в спину вонзить.

С минуту Генка ошеломленно тарацил глаза на Игоря, а тот целился в него носом — отчужденно-спокойно.

— Ты-ы!..

Игорь пожал плечами:

— Сам просил — я не пабивался.

— Ты-ы!.. Ты-ы меня!.. Носил за пазухой!..

— Сказал факты, а вывод пусть делают другие. Генка, сжав кулаки, шагнул на Игоря:

— Я те-бе!..

Игорь распрямился, выставил темный подбородок.

— Давай,— тихо попросил он.— Ты же самбист, научен суставы выворачивать.

Генка остоповился, хрипло выдохнул:

— Сволочь ты!

— Я сволочь, ты святой. Кончим на этом. Аминь.

— И правда кончим,— откликнулась Вера с жалобно округлившимися глазами.— Господи! Если б я знала...

— А ты ждала, что я все съем!

— Пусть меня лучше, не надо его больше, ребята. Пусть лучше меня!..— Вера всхлипнула.

— Пожалела. Спасибо большое! Только я не нуждаюсь в жалости! Давайте, давайте до конца! Все раскройтесь, чтоб я видел, какие вы... Сократ, валяй! Ну! Твоя очередь!

Генка кричал и дергался, а Сократ, как ребенка, прижимал к животу гитару.

— Я бы лучше вам спел, фратеры.

— Тут на другие песни настроились, разве не видишь? Не порти хор.

— А я что, Генка... У нас с тобой полный лояль.

— Не бойся, его не ударил и тебя бить не стану. Дави!

— Для меня ты плохого никогда... Конечно, что я тебе: Сократ — лабух, Сократ Онучин — бесплатное приложение к гитаре. А кто из вас, чуваки, относится с серьезным вниманием к Сократу Онучину? Да для всех я смешная ошибка своей мамы. У нас же праздник, фрaternity. Мы должны сегодня петь и смеяться, как дети,

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!..

— Моя очередь.

Натка не спеша разогнулась, твердые груди проступили под тонким платьем, блуждающая улыбочка на полных губах, под ресницами — убийственно покойная влага глаз.

Никому сейчас не до улыбок. Генка замёр с перекошенными плечами...

11

Двадцать с лишним лет назад они пришли в школу — трое педагогов со студенческой скамьи, два парня с колодками орденов и медалей на лацканах поношенных пиджаков и девица с копной волос, с изумленно распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному.

Иннокентия Сергеевича — уважительно. Раненный под Белгородом, он слишком наглядно носил на себе след войны — пугающий лиловый шрам на лице, и в то же время он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково, о нем сразу же установилось прочное мнение — надежный работник, образец для подражания.

Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненный, награжденный орденами, с ходу вошел в конфликт со школой. Он считал, что школьные программы по физике устарели — нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живет открытиями Эйнштейна, — начал преподавать по-своему. Остальных

преподавателей тогда вполне устраивали привычные программы, все они были старше Решникова, а потому резонно замечали, что яйца курицу не учат, на экзаменах с пристрастием спрашивали с учеников не то, чему их учил Павел Павлович. До полного разрыва со школой у него не дошло, он по-прежнему преподавал физику не строго по программам и не по учебникам, по делал это уже осторожно — инспекторские проверки никогда не заставляли его врасплох, его ученики достаточно хорошо знали программный материал. Сам же Павел Павлович являлся в школу, чтоб дать уроки и исчезнуть. Ни с кем из учителей он не сходиллся, не вступал в споры, не навязывал своих взглядов. Его кто-то назвал однажды — вечный гастролер. На это он спокойно возразил: «Смотря для кого. Ученики меня так не называют». У Павла Павловича среди учеников всегда были избранники, которых он приглашал даже к себе на дом, снабжал книгами.

Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно — молодой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделилась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышанье произнести то, о чем все осмеливались лишь шептаться по углам, заклеить подхалимов, обличить зарвавшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Она всегда шла напролом — пан или иронал — и почти всегда выходила победителем. В школе менялись директора, Ольга Олеговна оставалась бессменным завучем вот уже пятнадцать лет.

Она часто упрекала Решникова «за отшельничество», но уважала его за преданность своей науке. Науке, а не предмету — физике! Она сама давно уже не скрывала недовольства существующими учебными программами. Решников и Ольга Олеговна скорей были единомышленниками, врагами же — никогда! И вот сейчас Решников поднялся, чтобы выступить против нее.

— Объясни.

Из-под сияющего лба Решников внимательно и долго вглядывался в Ольгу Олеговну, сидящую с вызывающе вскиннутой головой.

— Тут ты вся: зовешь — делай, и не замечаешь, что уже делается. Кричишь — вперед! И хватасшь за полу — стой, не смей шевелиться!

- Не говори шарадами, Павел.
- Хочу сказать, что я много лет стараюсь развивать увлечения своих учеников, а ты меня постоянно одергивала: пестуешь любимчиков!
- Я и сейчас против, чтоб кто-либо из педагогов выделял любимчиков. И какая тут связь с увлечением?
- Прямая.
- Не вижу.
- Я люблю свою пауку, мечтаю подарить ей талантливых ученых. Надеюсь, что ты не собираешься тут меня осуждать?
- Нет.
- Но тогда можно ли меня судить, что я прохладен к тем, кто, мягко выражаясь, от природы не даровит к физике, не любит ее?
- Наверное, нельзя.
- Вот именно, как нельзя упрекать меня и за то, что я пристрастен к тем ученикам, в которых природа вложила способность увлекаться физикой. И чем больше ученик увлечен, тем сильнее он должен мне нравиться. Естественно это или нет, Ольга Олеговна?
- Ольга Олеговна помолчала секунду, тряхнула волосами:
- Естественно!
- Но нужно ли скрывать мне это естественное чувство, делать вид, что для меня все ученики одинаковы, ничем друг от друга не отличаются?
- На этот раз Ольга Олеговна не ответила.
- Делать вид — не отличаются и стараться не отличать неспособных от способных, равнодушных от увлекающихся. Да как же мне после этого развивать увлечение, за которое ты так горячо ратуешь? Но если я начну отличать, а значит, и выделять одних перед другими, ты же первая меня попрекнешь — любимчиков пестуешь? И ты, право, недалеко от истины: да, я каких-то люблю больше, каких-то меньше. Люблю потому, что они надежда той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, люблю потому, что рассчитываю — с моей помощью они могут стать чрезвычайно ценными членами общества.
- Ну, а как быть с остальными?.. — спросила Ольга Олеговна. — С теми, Павел, кто не оказался достойным твоей любви?
- Я им стараюсь дать общее понятие о физике. Не больше того.
- Они для тебя второй сорт люди, парии. Не так ли?

— Э-э, нет! Я никак не исключаю, что среди них могут быть не менее, а еще более талантливые натуры. Но уже не в моей области. Лицейст Пушкин, увы, был зауряден в математике, наверное, и в физике тоже, если б ее преподавали в Царскомсельском лицее. Представь, что я стану развивать природные способности нового Пушкина, я, не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. Нет, пусть им занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

Ольга Олеговна склонила к столу отягощенную волосами голову.

— Хорошо, Павел, согласимся, что тут ты прав. Но разве эта моя вина столь велика, что дает тебе право говорить — я опаснее Зои Владимировны?

Решников досадливо крякнул:

— Зоя Владимировна своего огня не раздует, но и моего не потушит. А ты можешь потушить.

— Что бы ты хотел от меня?

— Одного — не мешай мне возделывать свой сад.

— Каждый должен возделывать свой сад? И только?..

— Да. Без помех!

— В одиночку?

— Если я в своем труде рассчитываю на кого-то, я или плохой работник, или просто-напросто лодырь.

Сидевший рядом с Решниковым Иннокентий Сергеевич повернул к нему асимметричное суровое лицо.

— Ты так сердито разругал сейчас Ольгу и так жалко посоветовал, — произнес он.

— Это все, что я знаю.

— Теперь все делается коллективно, — все! — от канцелярских скрепок до космических ракет. А ты нам предлагаешь убого-единоличное — пусть каждый возделывает свой сад.

— Всю жизнь я единолично справлялся со своими обязанностями. Всю жизнь мне лезли помогать — и большей частью только мешали.

— Ремесленник-одиночка, оглянись кругом — ты последний из своего племени! Все твои собратья остались где-то в позднем средневековье. Прикажешь миру вернуться вспять? Не выйдет, Павел.

У Иннокентия Сергеевича под глазом, выше рваной скулы, подергивался живчик.

Натка, неприступно-прямая на скамейке, глядела мимо Генки влажными глазами.

— Гена-а... — с ленивенькой растяжечкой, путряным, обволакивающим голосом. — Что тут только не наговорили про тебя, беденький! Даже пугали — нож в спину можешь. Вот как! Не верь никому — ты очень чистый, Гена, насквозь, до стерильности. Варился в прокипяченной семейной водичке, куда боялись положить даже щепоточку соли. Нож в спину — где уж.

— Пат-ка! Не издевайся, прошу.

— А я серьезно, Геночка, серьезно. Никто тебя не знает, все видят тебя снаружи, а внутрь не залезают. Удивляются тебе: любого мужика через голову бросить можешь — страшен, берегитесь, в землю вобьешь. И не понимают, что ты паинька, сладенькое любинь, но мамы боишься, без спросу в сахарницу не залезешь.

— О чем ты, Натка?

— О тебе, только о тебе. Ни о чем больше. Целый год ты меня каждый вечер до дому провожал, но даже поцеловать не осмелился. И на такого паиньку наговаривают — нож в спину! Защитить хочу.

— Нат-ка! Зачем так?.. — Генка прятал глаза, говорил хрипло, в землю.

— Не веришь мне, что защищаю?

— Издеваешься... Они — пусть что хотят, а тебя прошу...

— Они — пусть?! — У Натки остерегающе мерцали под ресницами влажные глаза. — Я — не смей?.. А может, мне обидно за тебя, Генка, — обливают растворчиком, а ты утираешься. И потому еще обидно, что сами-то обмирают перед тобой: такой-рассяжкой, черствый, себялюбец негреющий, а шею подставить готовы — накинь веревочку, веди Москву завоевывать.

— Злая ты, Патка, — без возмущения произнесла Юлечка.

— А ты?.. — обернулась к ней Натка. — Ты добрей меня? Ты можешь травить медвежонка, а мне нельзя?

— Травить?! Нат-ка! Зачем?!

Натка сидела перед Генкой прямая, под чеканшими бровями темные увлажненные глаза.

— Затем, что стоишь того, — жестким голосом. — И так тебя и эдак пихают, а ты песочек уминаешь перед скамее-

чкой. Чего тогда с тобой и церемониться. Трусоват был Валя бедный... Зато чистенький-чистенький, без щепоточки соли. Одно остается — подержать во рту да выплюнуть.

Патка отвернулась.

В листьях молодых лип равнодушно горели матовые фонари. На поросший неопрятной травой рваный край обрывистого берега напирала упругая ночь, кой-где проколота шевелящимися звездами. Ночь все так же пахла влагой и травами. И лежал внизу город — россыпь огней, тающих в мутном мареве. Искрящаяся галактика, окутанная житейским шумом: кто-то смеялся среди огней, где-то надрывно кричала радиолка, тархтел мотоцикл.

— Жалкий ты, Генка, — безжалостно сказала Патка в сторону.

И Генка дернул головой, точно его ударили в лицо.

— Ну, Патка.. Ну-у!.. — из горла хриплое.

13

Он был одним из самых благополучных учителей школы. Уж он-то возделывал свой сад с примерным усердием.

Иннокентий Сергеевич подымал к Решникову свое суровое, шрамом стянутое на одну сторону лицо.

— Ты-то должен знать, что ремесленники повымерли не случайно, — говорил он неторопливым глуховатым голосом. — Люди бродили бы по миру нагие и голодные, если б сейчас каждый ковырял в одиночку свой сад дедовской мотыгой.

— Почему обязательно мотыгой? — невозмутимо возразил Решников. — Я лично пользуюсь всем тем, что предлагает современная педагогика. И смею думать, что сверх того кое-что сам изобретаю.

— Может, ты изобрел паровую машину и тайком ею пользуешься в своем единоличном садике?

— Не нуждаюсь ни в какой машине.

— То-то и оно, все нуждаются в машинах, все — от доярки до ученого-экспериментатора, а вот нам с тобой хватает классной доски, куска мела и тряпки. Мы с тобой вооружены, как был вооружен дедушка педагогики Ян Амос Коменский триста лет тому назад. И пытаемся поспеть за двадцатым веком. Удивительно ли, что нам приходится надрываться. Все работают по семь часов в

сутки, мы — по двенадцать, по шестнадцать, а результаты?..

Решников снисходительно усмехнулся:

— Увы, еще не изобретены машины для производства духовных ценностей, скажем, для произведений живописи, литературы, музыки, равно как и для передачи знаний.

Иннокентий Сергеевич дернул искалеченной щекой:

— А разреши спросить тебя, глашатай физики: открытие Галилеем спутников Юпитера — духовная ценность для человечества или нет?

Решников нахмурился и ничего не ответил.

— Молчишь? Знаешь, что эту духовную ценность Галилей добыл с помощью механизма под названием телескоп. А синхрофазотроны, которыми пользуются нынче твои собратья физики, разве не специально созданные машины? Эге! Еще какие сложные и дорогостоящие. Ими ведь не картошку копают, не чугуи выплавляют. Знания давно уже добываются с помощью машин, а вот передаются они почему-то до сих пор, так сказать, вручную.

— Может, ты даже представляешь, как выглядит та паровая машина, на которую собираешься посадить педагогов? — спросил Решников.

— Предполагаю.

— А ну-ка, ну-ка.

— Будем исходить из существующего ремесленничества — миллионы учителей по стране преподают одни и те же знания по математике, по физике, по прочим наукам. Одни и те же, но каждый своими силами, на свой лад. Как в старицу от умения отдельного кустика сапожника зависело качество сапог, так теперь от учителя зависит качество знаний, получаемых учеником. Попадет ученик к толковому преподавателю — повезло, попадет к бестолковому — выскочит из школы недоучкой. Вдуматься — лотерея. А не лучше ли из этих миллионов отобрать самых умных, самых талантливых и зафиксировать их преподавание хотя бы на киноленте. Тогда исчезнет для ученика опасность попасть к плохому учителю, все получают знания по одному высокому стандарту...

— Стоп! — перебил Решников. — По стандарту!.. Бездушная кинолента, выдающая всем одинаковую порцию знаний... Да ведь мы с тобой только тем и занимаемся, что стараемся приноровиться к каждому в отдельности ученику — один усваивает быстрее, другой медленней, третий

совсем не тянет. Да что там говорить, обучать живых, нестандартных людей может только живой, нестандартный человек.

И снова Иннокентий Сергеевич дернул щекой.

— Заменить тебя кинолентой?.. Да бже упаси! Хочу лишь спать часть твоего труда. Однообразного труда, Павел. Тебе уже не придется по нескольку раз в каждом классе втолковывать то, что ты втолковывал в прошлом году, в позапрошлом, три и четыре года назад. Стандартная кинолента даст тебе время.. Вре-мя, Павел! Чтоб ты мог нестандартно, творчески заниматься учениками — способным преподавал сверх стандартной нормы, способных подтягивал до стандарта. Тебе остается лишь тонкая работа — доводка и шлифовка каждого человека в отдельности. Каждого!

— Все-таки топчи дорогу своими ногами. Может, ты предлагаешь не локомотив, а просто посошок для облегчения моих натруженных ног?

— А ты хотел бы такой локомотив, который бы полностью устранил тебя?

— Зачем мне тогда и жить на свете,— отмахнулся Решников.

— То-то и оно, пет еще машины, которая исключала бы человека. И будет ли?

— О чем вы спорите?! — выкрикнула забытая Ольга Олеговна. — Как преподнести знания — механизированным или немеханизированным путем! Юлия Студёнцева до поздравлений нами набита этими знаниями, а тем не менее... Слова мне, что ли, повторять: у нас часто формируются люди без человеческих устремлений! А раз нет человеческого, то животное прет наружу вплоть до звершиности, как у тех парней, что ножом женщину на автобусной остановке... В локомотиве спасение — да смешно! Машиной передавать человеческие качества!..

Решников удовлетворенно хмыкнул:

— Вот и вернулись на круги своя: я человек, что-то любящий, что-то презирающий в мире сем, я передаю свое ученикам, вы — свое, пусть каждый мотыжит свой сад... Если мне вместо мотыги предложат сподручный трактор, я, пожалуй, не откажусь, но детей трактору не доверю.

Иннокентий Сергеевич с минуту молчал — странное, неподвижное лицо, одна его половина разительно не походит на другую, — затем обронил холодно и спокойно:

— Не доверю?.. А самим себе мы доверяем?..

Пять человек на скамье под фонарями, тесно друг к другу, и Генка нависает над ними.

— До донышка! Правдивы!.. Ты сказала — я черств. Ты — я светлячок-себялюбец. Ты — в предатели меня, нож в спину... А ты, Натка... Ты и совсем меня — даже предателем не могу, жалкий трус, тряпка! До донышка... Но почему у вас донышки разные? Не накладываются! Кто прав? Кому из вас верить?.. Лгали! Все лгали! Зачем?! Что я вам плохого сделал? Тебе! Тебе, Натка!.. Да просто так, воспользовались случаем — можно оболгать. И с радостью, и с радостью!.. Вот вы какие! Не знал... Раскрылись... Всех теперь, всех вас увидел! Наксвось!..

Накаленный Генкин голос. А ночь дышала речной влагой и запахами вызревающих трав. И густой воздух был вкрадчиво теплым. И листва молодых лип, окружающая фонари, казалось, сама истекала призрачно-потусторонним светом. Никто этого не замечал. Подавшись всем телом вперед, с искаженным лицом надрывался Генка, а пять человек, тесно сидящих на скамье, окаменело его слушали.

— Тебя коннуть до донышка! — Генка ткнул в сторону Веры Жерих. — Добра, очень добра, живешь да оглядываешься, как бы свою доброту всем показать. Кто насморк схватит, ты уже со всех ног к нему — готова из-под носа мокроту подтирать, чтоб все видели, какая ты благодетельница. Зачем тебе это? Да затем, что ничем другим удивить не можешь. Ты умна? Ты красива? Характера настоящей добротой покрыть можно. И выходит — доброта у тебя для маскировки!

Вера ошалело глядела на Генку круглыми, как пуговицы, глазами, и ее широкое лицо, казалось, покрылось гусиной кожей. Она пошевелилась, хотела что-то сказать, но лишь со всхлипом втянула воздух, из пуговично-периодических глаз выкатились на посеревшие щеки две слезинки.

— Ха! Плачешь! Чем другим защитит себя? Одно спасение — пролью-ка слезы. Не разжалобишь! Я еще не все сказал, еще до донышка твоего не добрался. У тебя на донышке-то не так уж пусто. Куча зависти там лежит. Ты вот с Наткой в обнимочку сидишь, а ведь завидуешь ей — да, завидуешь! И к Юльке в тебе зависть, и к Игорю...

Каждый чем-то лучше тебя, о каждом ты, как обо мне, наплела бы черт-те что. Добротой прикрываешься, а первая выскочила, когда разрешили,— можно дерьмом облить...

Вера ткнулась в Наткино плечо, а Юлечка выкрикнула:

— Гена!

— Что — Гена?

— Ты же не ее, ты себя позоришь!

— Перед кем? Перед вами? Так вы уже опозорили меня, постарались. И ты старалась.

— Сам хотел, чтоб откровенно обо всем...

— Откровенно. Разве ложь может быть откровенной?

— Я говорила, что думала.

— И я тоже... что думаю.

— Ие надо нам было...

— Ага, испугалась! Поняла, что я сейчас за тебя возьмусь.

И без того бледное точеное личико Юлечки стало матовым, нос заострился.

— Давай, Гена. Не боюсь.

— Вот ты с любовью лезла недавно...

— Ты-ы!..

— А что, не было? Ты просто так говорила: пойдём вместе, Москву возьмем?

— Как тебе не стыдно!

— А притворяться любящей не стыдно?

— Я притворялась?..

— А разве нет?.. Снерва со слезами, хоть сам рыдай, а через минуту — светлячок-себялюбец. Чему верить — слезам твоим чистым или словам?.. И ты... ты же принципиальной себя считаешь. Очень! Только вот тебя, принципиальную, почему-то в классе никто не любил.

— Как-кой ты!..

— Хуже тебя? Да?.. Я себялюбивый, а ты?.. Ты не из себялюбия в школе надрывалась? Не ради того, чтоб первой быть, чтоб хвалили на все голоса: ах, удивительная, ах, необыкновенная! Ты не хотела этого, ты возмущалась, когда себялюбие твое ласкали? Да десять лет на голом себялюбии! И на школу сегодня напала — зачем? Опять же себялюбие толкнуло. Лезла, лезла в первые и вдруг увидела — не вытанцовывается, давай обругаю.

— Как-кой ты!..

Бледная от унижения Юлечка — осунувшаяся, со вздрагивающими веками, затравленным взглядом.

Не выдержал Игорь:

— Совсем свихнулся!

И Генка качнулся от Юлечки к нему:

— Старый друг, что ж... посчитаемся.

Игорь криво усмехнулся:

— Не до смерти, не до смерти, пожалей.

Генка с высоты своего роста разглядывал Игоря, сидящего на краешке скамьи бочком, с вызывающим изломом в теле — одно плечо выше другого, крупный нос воинственно торчит.

— А представь,— сказал Генка,— жалею.

— Вот это уж и вправду страшно.

— Нож в спину... Я — тебе?! Надо же придумать такое. А зачем? Вот вопрос.

Игорь, не меняя неловкой позы, презрительно отмолчался.

— Да все очень просто: на гениальное человек нацелен. Искренне, искренне о себе думаешь — Цезарь, не меньше!

— Тебе мешает, что кто-то высоко о себе...

— Цезарь... А любой Цезарь должен ненавидеть тех, кто в нем сомневается. Голову отрубить, Цезарь, мне не можешь, одно остается — навесить что погаже: такой-сякой, нож в спину готов, берегитесь!

— Ты же ничего плохого за моей спиной обо мне не говорил, дружил и не продавал?

— Да почему, почему сказать о тебе плохо — преступление? Неужели и в самом деле ты думаешь, что тебя в жизни — только тебя одного! — станут лишь хвалить? И никого не будет талантливей тебя, крупней? Ты самый-рассамый, макушка человечества! Да?

— Я себя и богом представить могу. Кому это мешает?

— Тебе, Цезарь! Только тебе! Уже сейчас тебя корчит, что не признают макушкой. А вот если в художественный институт проскочишь, там наверняка посильней тебя, способней ребята будут. Наверняка, Цезарь, им и в голову не придет считать тебя макушкой. Как ты это снесешь? Тебе же всюду ножи в спину мерещиться станут. Всюду, всю жизнь! От злобы сгоришь. Будет вместо Цезаря головешка. Ну, разве не жалко тебя?

Генка нависал над Игорем; тот сидел, вывернувшись в неловком изломе, выставив небритый подбородок.

— Ловко, Генка... мстишь... за нож в спину...

— Больно нужно. И незачем. Ты же сам с собою расправишься... Под забором умру... Не знаю, может, и в мяг-

кой постели. Знаю, от чего ты умрешь, Цезарь недоделанный. От злобы!

Игорь коченел в изломе, блуждал глазами.

— Ну, спасибо,— сказал он сипло.

— За что, Цезарь?

— За то, что предупредил. Честное слово, учту.

Генка оскалился:

— Исправишься? Гениальным себя считать перестанешь?

— Хотя бы.

— Давно пора. Какой ты, к черту, Цезарь.

Матовые фонари висели в обложных сияющих облаках листвы, лицо Генки под их сильным, но бесцветным светом, отбрасывающим неверные тени, было бескровно-голубым, кривящиеся губы черными. Изломанно сидящий Игорь перед ним.

— Рад? — наконец выдохнул Игорь.

Генка сильней скривил рот и ничего не ответил.

— Рад, скотина?!

И Генка оскалился. Тогда Игорь вскочил, задыхаясь закричал в смеющееся голубое лицо:

— Я же не палачом, не убийцей мечтал!.. Мешаю! Чем! Кому?

Генка скалил отсвечивающие зубы.

— И ты мечтай! Кто запрещает?! Хоть Цезарем, хоть Наполеоном, хоть Христом-спасителем! Не хочешь! Не можешь! И другие не смей!.. Скотина завистливая!..

Вздохмаченный носатый Игорь, дергаясь, выплясывал перед долговязым Генкой. Тот слушал и скалил зубы.

15

— Дадим себе отчет: о чем мы сейчас мечтаем? Только о том, чтоб лучше готовить учеников? Нет! Готовить лучших людей! Мечтаем усовершенствовать человеческую сущность. А об этом мечтали с незапамятных времен. Можно сказать, мечта рода людского.

Решников хмыкнул:

— Гм!.. Не по Сеньке шапка. Задача не школьного масштаба.

— Не школьного?.. А разве школа как общественное учреждение — не масштабное явление? Укажите такое место на карте, где бы не было школы. Назовите хоть одного человека, который бы сейчас прошел мимо школы.

Кому и заниматься масштабными задачами, как не вездесущей школе с ее миллионной армией учителей.

— Но ты начал с того, что мы не верим сами себе,— напомнила Ольга Олеговна Иннокентию Сергеевичу.

— Не верим потому, что никто из нас не чувствует себя бойцом великой армии, каждый воюет в одиночку. Вот ты, Ольга, завуч школы, много мне можешь помочь!.. Тем более что ты по образованию историк, тогда как я преподаю математику. А много ли помогает мне горно с его методическим кабинетом? И от областных организаций, и от нашего министерства нагоняев — да, жду, требований, приказов — да, но только не помощи! Я боец великой просветительной армии, нас миллионы, по я, как и каждый из этих миллионов, один в поле воин. Один!.. Школа — масштабное явление, по я-то этого никогда не чувствую.

— И кинолентой рассчитываешь объединить нас, однопочек? — спросил с усмешкой Решинков.

— Хотя бы! Если кинолента несет в себе знания и опыт лучших учителей.

— Если лучших!.. На практике-то мы часто сталкиваемся с иным. Разве не выпускаются сейчас плохие учебники, почему же не быть плохим учебным кинолентам? У этой несенки два конца.

— Первый паровоз, первый многоверетенный прядильный станок тоже попервоначалу были крайне несовершенными, но вытеснили же они в конце концов ломового извозчика и пряху-надомницу,— спокойно возразил Иннокентий Сергеевич.

— Эге! Ты, вижу, мечтаешь совершить в педагогике промышленную революцию!

— Разумеется. А зачем нужна тогда паровая машина, если она не совершит переворота?

Наступило неловкое молчание.

Иннокентий Сергеевич сидел, расправив плечи, высоко подняв асимметричное лицо,— над измятой, стянутой рубцами скулой жил, настороженно поблескивал светлый глаз.

Ольга Олеговна исподтишка приглядывалась из своего угла: двадцать лет, считай, вместе, а не подозревала, что он, Иннокентий, недоволен школой. Один из самых благополучных учителей. Благополучные тяготятся своим благополучием. Юлия Студёнцева тоже была самой благополучной ученицей в школе.

— Хе-хе,— неожиданно колыхнулся на своем стуле

директор Иван Игнатьевич,— чем мы тут занимаемся? В облаках витаем. Мосты воздушные возводим. Хе-хе! Всемирные проблемы, революционные преобразования... А не пора ли нам спуститься на грешную землю, друзья?..

16

Игорь выкричался и потух, отвернулся от Генки — руки в карманах, взлохмаченная голова втянута в плечи, одна нога нервно подергивается. Генка, сведя белесые брови, уже без улыбки, хмуро глядел Игорю в затылок.

Юлечка, не спускавшая с Генки блестящих глаз, снова выдохнула:

— Ну-пу, как-кой ты... опасный!

И Генка вскипел:

— Думали, барашек безобидный, хоть стриги, хоть на куски режь — снесу! Я вам не Сократ Онучин!

— Старик!.. За что?..

Генка досадливо повел на Сократа плечом:

— Тебя всего грязью обложи — отряхнешься да песенку проблеешь.

— Он взбесился, фратеры!

Сократ, прижимая к животу гитару, подавленно оглядывался:

— Что я ему плохого сделал, фратеры?

Игорь Проухов изучал землю и подергивал коленом.

Напружиненно поднялась Натка — вскинутая голова, покатые плечи.

— С меня хватит. Я пошла.

И Генка рванулся к ней:

— Пет, стой! Не уйдешь!

Она надменно повела подбородком в его сторону:

— Силой удержишь?

— И силой!

— Ну попробуй.

— Бежишь! Боишься! Знаешь, о чем рассказывать буду?

Натка ужаленно развернулась:

— Не смей!

— Ха-ха! Я же трус, не посмею — побоюсь.

— Генка, не надо.

— Ха-ха! Мне хочется — и что ты тут сделаешь?!

— Генка, я прошу...

— Ага, просишь, а раньше?.. Раньше-то пинала — трус, размазня!

— Прошу, слышишь?

— А ты на колени встань — может, пожалею.

— Совсем свихнулся!

— Да! Да! Свихнулся! Но не сейчас, чуть раньше, когда ты меня. Ты! Хуже всех! Злей всех! Всех обидней!

— Очнись, сумасшедший!

— Очнулся! Всю жизнь как во сне прожил — дружил, любил, уважал. Теперь очнулся!.. Слушайте!.. Ничего особенного — картинка с природы, моментальный снимочек...

— Не-го-дай!

— Негодяй. Да. Особенно перед тобой. Я же почти два года в твою сторону дышать боялся. Если ты в классе появлялась, я еще не видел тебя, а уже вздрагивал. Негодяй и трус — верно! Даже когда издали на тебя глядел, от страха обмирал, но глядел, глядел... Как ты голову склоняешь, как ты плечом поведешь... Я, негодяй, смел думать, что лучше ничего, чище ничего на всем, на всем свете! И ты меня, негодяя, мордой за это, мордой! И вправду, чего тебе жалеть меня.

— Гена-а... — дрогнувшим голосом. Натка вдруг вся обмякла, словно из нее вынули пружину. — Ношли отсюда. Слышишь, вместе... Хватит, Гена.

— Ага, будь послушеньким, чтоб потом снова всем: трус, жалок, хоть в какой узелок свяжу... Нет, Натка, теперь не обманешь ты с головой себя выдала. Красивая, а душа-то змеиная! Как раньше любил, так теперь ненавижу! И лицо твое и тело твое, которое ты мне...

— За-мол-чи!!!

— Злись! Злись! Кричи. Мне даже поиграть с тобой хочется... в кошки-мышки... Ну, не буду играть, лучше сразу... Слушайте: это недавно было, после экзаменов по математике...

— Прошу же! Прошу!

— ...Пошел я на реку, и, конечно, я, негодяй, шел по бережку и думал... о ней. Я же всегда о пей думал, каждую минуту, как проснусь, так и думаю, думаю, раскисаю... Значит, иду и думаю. И вдруг...

— Последний раз, Генка! Пожалеешь!

— Смотрите, снова напугать хочет. Как страшно!..

И вдруг вижу в воде у самого бережка — она...

— Рассказывай! Рассказывай! Весели! Давай! — за-

кричала Натка, и ее крик отозвался где-то в глубине ночи смятежно-суматошным «вай! вай! вай!».

— Кунается... Из воды только плечи и голова. Меня-то она раньше заметила — смеется...

— Давай! Давай! Не стесняйся!

— Вай! вай! айся! — отозвалась ночь.

— Я же не ждал, я только думал о ней. А потом — я трус... Встал за столбом и рот раскрыл как дурак — ни туда ни сюда, «здравствуй» сказать не могу...

— О-о-о! — застонала Натка.

— А она знай себе смеется: уходи, говорит, я голая...

Натка всхлинула и схватилась руками за горло — изломанные брови, растянутый гримасой рот, преобразившаяся разом, судорожно-некрасивая.

— Голая... Это опа-то, на которую издали взглянуть страшно. Уходи!.. Кто другой — не трус, не жалкий слюнтяй — может, ближе бы подошел, тары-бары, стал бы заигрывать. А я не мог. И как тут не послушаться — уходи. На улице издали увижу — вся улица сразу меняется. И я... я задом, задом да за кусты. Там, за кустами, встал, дух перевел и честно отвернулся, чтоб печально как-нибудь, чтоб, значит, взглядом нехорошим... Но уши-то не заткнешь, слышу — вода заплескалась, трава зашуршала, значит, вышла из воды... И рядом же, пять шагов до кустика. Она! И холодно мне и жарко...

Натка медленно опустила от горла руку, пизко-низко склонила голову — плечи обвалились, спина сгорбилась.

— Шевелилась она, шевелилась за кустом, и вот... вот слышу: «Оглянись!»! Да-а...

Натка горбилась и каменела, лица не видно, только гладко расчесанные на пробор волосы.

— Да-а... Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась... А она... Она как есть... Я и в одежде-то на нее... А, черт! Об одном талдычу — ясно же!.. Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце... Она мокрая, белая — ослепнуть! Плечи разведены и все распахнуто — любуйся! зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хороша я?»

— Мразь! — дыханием сквозь зубы.

— Сейчас, может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И ослеп

совсем... Солнце тебя всю, до самых тайных складочек... Горишь вся сильнее солнца, босые ноги на траве, руки вниз брошены, платье скомканное рядом, и улыбаешься... зубы... «Хватит. Уходи». То есть хорошего понемножку... И я послушался. А мог ли?.. Тебя!.. Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли!.. А теперь-то понимаю — ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.

— Мразь! Недоумок!

— Опять ошибочка. Тогда — да, недоумок, тогда, не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет... Ты просто самка, которая ждет, чтоб на нее кинулись...

Натка натужно распрямилась — лицо каменное, брови в изломе.

Вместо нее откликнулась Юлия Студёнцева:

— Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! — В голосе брезгливый ужас.

— По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему — не скажу... Это не безобразно? Ну так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!.. До сих пор в глазах стоишь... Груды у тебя в стороны торчат, а какие бедра!

И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику в лицо.

— Подлец! Подлец! Подлец!!!

Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Наткины брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы — следы ногтей.

— Тьфу!

Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.

Задев плечом не успевшего откачнуться Игоря, Генка кинулся к обрыву.

С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.

Плотная, плоская ночь — как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной плистой сыростью.

Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сынал захлебывающейся скороговорочкой:

— Иннокентий Сергеевич! Как же вы — вы! — на мапиловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете — хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бынисколько не удивился. Но вы-то человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам — в миражи ударились!

— В миражи? — Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку. — А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одипочку свой садик, не веря в миражи?

— Мой садик — сугубая реальность, — сухо бросил со стороны Решников, — а твои упования, согласись, из области фантазии.

— Не такая уж фантазия — показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем, — напомнил Иннокентий Сергеевич.

— Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! — снова обрушился Иван Игнатьевич. — Революция-то случится — если случится еще! — когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете — кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут — принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.

— Ну что ж, будем по старинке-матушке — каждый в своем закутке, в одипочку...

— Да нет, нет! Не получается у нас в одипочку! Да оглянитесь, как живем — трясем друг друга, на ковер бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну

бросила на лопатки, Павел Павлович — Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич, — Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж...

— Бросаем на ковер, а результат? — резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.

— А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа лет семь тому назад. Нас тогда душили — даешь высокий показатель, и баста?! Отметки приходилось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаянья доходили — думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова силачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, оказывается, мало — недели ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва прошла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймаем за копчик хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно — чего-то добьемся. Тянем-потянем — и вытянем репку. Сам! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.

— Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич, — произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.

— Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать... Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.

18

На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:

— Он!.. Он!.. Я же его любя, а он!.. Сам-кой! О-о-о!..

Вера Жерих топталась над ней:

— Наточка, он же не только тебя, он всех... И меня тоже... А я, видишь, ничего...

— Перед всеми!.. Зачем?! Зачем?! И все вывернул!.. Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он — сам-ка!.. Под-лец!

Игорь первою ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натываясь на Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцева, вобравшую голову в кисейные плечики.

— Лучше бы убил меня, чем так!.. Лучше! Честней!

— Наточка, он же всех...

Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:

— А меня-то он за что? А?

Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.

— Как-кой он!— Юлечка вся передернулась — от белых бантов в косичках до щиколоток.

— Лучше бы убил!

Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.

— Он и есть убийца,— заговорил Игорь.— Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и...

— Как-кой он безобразный!

— Неп-на-в-ви-жу! Неп-на-в-ви-жу!— металась Натка.

— Разве не все равно, каким путем убить жизнь — ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!..

— Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его, Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке...— Сократ, как младенца, укачивал гитару.

— У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое — и без жалости, без жалости!.. Всех, и даже Натку...

Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла согнувшись.

Юлечка снова передернулась:

— Как-кой он, однако... Бесстыдный!

— Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет,— объявил негромко Сократ.

— Два сапога — пара,— процедил сквозь зубы Игорь.

Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась — выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.

— Я сегодня такое узнал, фратеры... Не хотел говорить Генке сразу, думал — праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем.

Игорь с досадой передернул плечами:

— Какое нам до них дело!

— Мне — дело! — произнесла Натка.

У нее отвердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.

— Мне — дело! — повторила она громче, с гневным звоном в голосе.

— А-а, ну их! Пусть перегрызутся. — Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.

— И тебе есть дело! — Спрятанные за упавшими волосами Наткины глаза враждебно ошупывали Игоря.

Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону.

— Убийца же — сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?..

— При случае припомню.

— Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может...

— Не хочешь ли, чтоб я помогал Яшке?

— Яшка сам справится, лишь бы не помешали.

— Ну и пусть справляется. Плевать. Для меня теперь Генка чужой.

Под спутанными волосами — враждебные глаза. Обернувшийся на Натку Игорь невольно поежился. Натка спросила:

— Вдруг кто из нас захочет помешать Яшке, как ты тогда?

— Никак. Мне-то что.

— Врешь! Врешь!.. Нен-на-виж-жу! И ты нен-павидишь!

— Да чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы Яшке не помешали! По старой дружбе, из жалости или просто так, из благородства сопливого. Хочу, чтоб все слово друг другу дали. Сейчас! Не сходя с места! От тебя первого хочу это слово услышать!

— Лично я ни Яшке, ни Генке помогать не собираюсь.

— Даешь слово?

— Пожалуйста, если так тебе нужно.

— Даешь или нет?

— Да слышала же: у нас с Генкой все кончено, с какой стати мне к нему бежать.

Натка минуту вглядывалась в Игоря недружелюбно мерцающими из-под упавших волос глазами, медленно повернулась к Сократу:

— А ты?.. Ты хотел шепнуть?.. Снова не захочешь?

— Я как все, фратеры. Генка и меня... ни за что ни про что.

Патка подалась к Вере:

— А ты?

— Что, Наточка?

— Что? Что? Не понесешь завтра на хвосте?

— Но Яшка, Наточка... Он же зверь.

— И верно, фратеры, Яшка на этот раз шутить не будет... Он страшенькое готовит.

И Патка вскипела:

— Уже сейчас раскисли! А завтра и совсем... Разжалобимся, перепугаемся, вспомним, что Яшка злой, Яшка страшенький, и — простим, простим, спасти наперегонки кинемся! Нен-на-виж-жу! Всех буду ненавидеть!

— Мое дело предупредить, фратеры. А там решайте. Как все, так и я. Мне-то зачем стараться перед Генкой.

— Ну, Верка?

— Наточка, если уж все...

— И все-таки жаль?

— Противен он мне.

— Даешь слово, что ни завтра, ни послезавтра — никогда не проговоришься?

— Да... даю.

Натка развернулась к Юлечке:

— Ты?

Юлечка, подняв кисейные плечики, стояла с прижатыми к груди кулачками, бледная, с заострившимся носом, с губами, сведенными в ниточку.

— Что тянешь? Отвечай!

— А если Яшка покалечит... или убьет?

— Если б Яшка звал Генку в карты играть, то и разговора бы не было.

— Даже если убьет?..

Натка медленно-медленно поднялась со скамьи, раскосмаченная, с упрятыми глазами, распухшим носом, искривленным ртом, шагнула на Юлечку:

— Жалеть прикажешь? Мне — его? Весь город завтра узнает, пальцами показывать станут: сук-ка!.. Мне жить нельзя, а ему можно? Да я бы его своими руками!.. Нен-на-виж-жу! Не смей. Не смей дорогу перебежать! Только шenni... Мне терять нечего!

Натка кричала, напирала грудью на побледневшую до голубизны, сжимавшую на груди маленькие кулачки Юлечку.

Игорь не выдержал, сердито крикнул:

— Хватит! О чем мы — Яшка, Генка... Да в первый раз такой треп слышим? Кто-то сболтнул, Сократ услышал, а мы заплясали. Ничего не случится, вот увидите — зvon один.

— Нет, фратеры, не зvon.— Узкое лицо Сократа вытянуто, голос приглушен, руки, держащие гитару, беспокойны.— Точные сведения, верьте слову.

— Кто тебе накапал? Не темни.

— Скажу. Только — могила. Если Яшка дознается, был Сократ Опучин — и нет его. Я не Генка, Яшке меня — разчихнуть.

— Да кому нужно Яшке на тебя капать! Здесь Яшкиных приятелей нет. Выкладывай.

— Пашку Чернявого из Индии знаете?

— Это ты там всех знаешь, мы к ним в гости не ходим.

— Маленький такой, рожа в веспушках, волосы белые. Потому и прозвали Чернявым, что совсем на чернявого не похож... Он у меня, фратеры, урок берет... по классу гитары. Так вот он мне под страшным секретом... Из верных рук, фратеры, из верных, верьте слову.

— Что сказал тебе Чернявый?

— Генка гоняет на велосипеде по Улыбинскому шоссе. Так?

— Ну, так.

— А шоссе мимо чего идет, помните?

— Шоссе длинное.

— Мимо Старых Карьеров, фратеры. Вот когда Генка мимо Карьеров погонит, этот Папка Чернявый и выскочит...

— Один? На Генку?

— Ты слушай... Будет Папка в рваной рубахе и портет в крови. Специально разукрасят. Значит, выскочит он таким красивым и закричит: «Помогите! Убивают!» Ну, а Генка мимо проскочит, не остановится? Нет уж, сами знаете, козлом поскачет, куда укажут. «Помогите!» Чего ему не помочь, когда самбо в руках. Но в Карьерах-то его и встретят... Яшка с кодлой. В прошлый раз Генка Яшку красиво приложил. Теперь Яшка все учтет. Так что, ой, мама, не жди меня обратно — самбо не может,

Уже зашевелились, чтоб подняться, проститься, разойтись по домам, закончить затянувшийся вечер, а вместе с ним и очередной учебный год. Обычный год, напряженно-трудный, принесший под занавес нежданное огорчение.

Но тут все увидели, что Нина Семеновна, забыто сидевшая в стороне, собранным в комочек платочком промокает слезы с наведенных ресниц — плачет втихомолку.

— Что с вами, Нина Семеповна?

— Да так, ничего.

Ольга Олеговна устало опустила рядом с Ниной Семеповой:

— Сегодня нам всем не по себе...

Нина Семеновна, комкая платочек, прерывисто вздохнула:

— Все о Юлечке думаю, и вот стало так жаль...

Директор Иван Игнатьевич укоризненно покачал головой:

— Бросьте-ка, бросьте! Юлию Студёнцеву жалко. Не страдайте за нее. Девушка настойчивая, сами знаете, свое возьмет.

— Да мне не ее, а себя... — Нина Семеновна выдавила виноватую улыбку.

Ольга Олеговна заглянула под ее опущенные ресницы:

— О ней думаете — себя жаль?

— Я же на Юлечку надеялась очень. Да, все эти годы... Глупость, конечно, но мечтала: открою утром газету, а там ее имя, включу вечером телевизор — о ней говорят... Нет, нет, не слава мне была нужна! Есть люди, необходимость которых очевидна, они время несут на своих плечах. Возможно ли, скажем, наступление нашего двадцатого века представить без Марии Кюри... Думалось, вдруг да Юлечка... А я-то ее у порога школы встретила. От меня значительный человек через времена двинулся, как большая Волга от маленького источника. И вот сегодня... Сегодня я поняла — не случится. Да, да, вы правы, Иван Игнатьевич, за Юлечку беспокоиться нечего — свое возьмет. Но только свое, а на меня-то уже не хватит. Наверное, будет толковым инженером или врачом, каких много. А значит, я не исключительной удачи учитель, нет... таких много. Право, стыдно даже, какие глупости говорю, но настроила себя, чуть ли не все десять лет настраивала и ждала — будет, будет у меня сверхудача! Теперь вот поняла и до слез... Не смейтесь, пожалуйста.

Все молчали, рассеянно глядели каждый в свою сторону.

— Молоды вы еще, очень молоды! — вздохнул Иван Игнатьевич. — Кто из нас в молодости не мечтал великана в мир выпустить из своих рук!

— И, как правило, взмывали не те, от кого ждешь полета, — с горечью проговорила Ольга Олеговна. — Никто из нас не отличал особо Эрика Лобанова, а нынче профессор, и уже известный.

— Но это... — Нина Семеновна даже задохнулась от волнения, — это же доказательство нашей близорукости — не разглядеть в человеке, чем он значителен. Так можно и гения просмотреть!

Наверное, впервые за весь вечер Ольга Олеговна улыбнулась, покачала головой, увенчанной тяжелой прической:

— Мы не провидцы — обычные люди. Самые обычные. Предвидеть гения, тем более научить гениальному, — нет, нам не по силам. Научить бы самому простому, банальному из банального, тому, что повторялось из поколения в поколение, что вошло во все расхожие прописи — вроде: уважай достоинство ближнего, возмущайся насилием... Собственно, научить бы одному: не обижайте друг друга, люди.

— Научить?! — воскликнула Нина Семеновна. — Кого? Юлечку! Гену Голикова! Игоря Проухова! Они все, все еще в детстве были удивительно отзывчивы на доброту. С самого начала, еще до школы, все добры от природы. И уж если они станут обижать друг друга, то тогда... Тогда остается только одно — повеситься на нервом же гвозде от отчаяния.

Иннокентий Сергеевич повернул к свету изрытую сторону лица, тронул свой страшный шрам.

— Не исключено, что вот это украшение подарил мне вовсе не злой от природы человек. И я должен был каких-то детей оставить сиротами, не ведая озлобления.

И Нина Семеновна с испугом отвела глаза, с жаром проговорила:

— Я готова каждый день повторять: господи, дай мне силы отдать жизнь тем, кого учу! Господи, не обмани меня, сделай их всех счастливыми!

— Стоит ли молиться! — отозвалась Ольга Олеговна. — Мы и без молитв делаем это — отдаем жизнь.

— Вот именно. И Зоя Владимировна тоже, — напомнил Иван Игнатьевич.

Ольга Олеговна встала, засмотрелась в темное распахнутое окно, за которым лежала притихшая улица.

— Мальчики и девочки, мальчики и девочки, как вы еще зелены! Нет, не готовы к жизни... — Помолчала и, не отрываясь от окна, спросила: — Интересно бы послушать, что они сейчас говорят о своем будущем?

— Пусть поют и веселятся. Думать о будущем им предстоит завтра.

Учителя задвигали стульями, стали подыматься.

20

Фонари освещали уголок сквера под липами — пять человек и пустая скамья. Сократ замолчал.

Юлечка, выставив на Натку острый подбородок, спросила:

— Слышала?

— Слышала! — Ответ с вызовом. — Ну и что? Я ненавижу его! Раньше любила. Открыто говорю: лю-би-ла! Теперь ненавижу! Не прощу!

— Щу! — отозвалось в ночи.

— Мне даже кошку жаль, когда ее бьют и калечат. Тут человек.

— Пусть каждый как хочет, Натка, — вступился Игорь.

— Опять заело у тебя, Исусик. Убийцей же его называл, теперь простить готов. Трепач ты!

— Яшке помогать — не жди, не буду!

— Так помогай Генке! А сам говорил — они друг друга стоят, два сапога...

— Я к Генке не побегу, но других за руку хватать не стану.

— А я... — Юлечка задохнулась. — Я и Яшку бы... Да! Предупредила, если б кто-то убивать его собирался.

— Побежишь? Скажешь? Только попробуй!

— А что ты со мной сделаешь? За волосы удержишь?

— Попробуй... Все попробуйте! Только заикнитесь!

— Игорь! Ты слышишь? Игорь! Ты хочешь художником... Наверно, радовать людей хочешь. Наверно, думаешь: посмотрят люди твои картины — и добрей станут. Разве не так, Игорь? Добрей! А сам сейчас... Пусть бьют человека, пусть калечат, даже убить могут — тебе плевать.

Сам не пойду, других держать не буду, моя хата с краю... Игорь! Пойдем к Генке вместе!

Прижимая ладошки к груди, натянуто-хрункая, дрожащая, Юлечка тянулась к Игорю, па выбеленном лице просяще горели темные глаза. Игорь морщился и отводил взгляд.

— Черт! Ты думаешь, он шевельнул бы пальцем, если б нас Яшка...

— Стари-ик! — слабо изумился Сократ. — Надо быть честным, старик! Генка за нас всегда... Даже за незнакомых на улице... И ты знаешь, как он Яшку приложил.

— То раньше... Раньше он за меня готов черту рога сломать. А вот теперь... сомневаюсь.

— Тут что-то не то, фратеры. Раньше — не сомневаюсь. Значит, хорош был раньше, а на него накинудись. За чем? Что-то не то...

— А кто накинудись? Кто?! — с отчаяньем закричал Игорь. — Я на него? Ты не слышал, как я говорил ему — не будем, не надо, кончим! Нет! Сам, сам напрашивался! Угрожал еще — не жди, не пожалею! А что ему сказали? Да то, что было. А он про нас понес что? Про каждого! Иа меня как на врага. И на тебя тоже, хотя ты ни слова плохого о нем... Все ему вдруг враги. И нас, врагов, ему любить и защищать? Да смешно думать. Ну, а мне-то зачем врага спасать? Он мне теперь чужой, посторонний!

Сократ тоскливо промолчал, мигал красными веками, оглаживал гитару.

Юлечка снова подалась на Игоря:

— Пусть он плохой, Игорь. Пусть чужой. Но не кошку — человека... собираются бить!

И снова Игорь сморщился, влез пятерней в растрепанные волосы.

— Ч-черт! Что же делать? Он мне в душу плюнул, а я к нему на полусогнутых...

Натка, каменея губами и скулами, слушала.

— Ну, поговорили? — сказала она резко. — Хватит! Теперь я скажу. Попробуйте помешать Яшке. Только заикнитесь! Пеняйте на себя. Тогда я сама к Яшке пойду, тогда я скажу ему, кто помешал...

Рука Сократа задела за струны, и гитара издала густой, тающий звук.

— Ага! Поняли — Яшка не простит, вместо Генки вас... разукрасит.

— Паточка! — всхлипнула Вера.

— Плоха? Мне теперь на все плевать! Хуже уже не стану.

Натка возвышалась со вскинутой головой, с гневливым мерцанием за упавшими на лицо волосами.

— Фратеры-ы... — тоскливо выдавил Сократ.

Игорь, не подымая глаз, сутулился, казалось, стал меньше ростом. У Юлечки торчит вперед острый подбородок, глаза остановились, утратили блеск.

— Фратеры-ы!.. Яшка меня первого...

— Иди! — с высоты своего роста кинула Натка Юлечку. — За волосы дергать — больно пужио.

И Юлечка, не спуская с Натки остановившихся глаз, тихо произнесла:

— Пойду.

— Юлька! — заволновался Сократ. — Ты Яшку не знаешь, Юлька! Он любого!.. И меня и тебя... Он не посмотрит, Юлька, что ты девчонка.

— Одна пойду. Донеси Яшке...

Сократ поводит зябко плечами, суетливо топтался:

— Игорь! Старик! Скажи ей, дуре... Ты-то знаешь, какой он, Яшка. Она и себя и всех нас... Меня Яшка первого... Ему убить — раз плюнуть.

— Слышишь, Игорь, — раз плюнуть. Так помогите Яшке, он без тебя не справится!

Игорь дрожащей рукой провел по лицу:

— Да ну вас всех к черту. — Вяло, без энергии: — С ума посходили... — И вдруг вскинулся на Сократа: — Ты что голову тут морочишь? Страшен! Страшен! Убить — раз плюнуть. Да никого он не убьет — ни Генку, ни тебя. Что он, без головы, что он, не понимает — за такое ему вышку врежут. Ну, прочит Генку, если тот сам им раньше руки не переломает.

— Нет, фратеры! Нет! — задохнулся Сократ.

— Он пугает, Юлька. Ничего не случится, цел Гепка останется.

— А если случится, тогда что?

— Да Яшка же знает: чуть что — его первого щупать станут. Кому своей головы не жаль.

— Игорь, ты не трясись. Ведь я уже не зову тебя. Я одна все сделаю. Сам не трясись и Сократа успокой, вон как он от страха выплясывает.

— Юль-ка-а... — Сократ заговорил сдавленным шепотом. — Ты сообрази, Юлька, почему Яшка Карьеры выбрал. Думаешь, место глухое, потому... Глухих мест без Карье-

ров много. А в Старых Карьерах захоронения есть. Слышала — туда из комбината всякую ядовитую пакость свозят. Яшка все продумал, фратеры: стукнут они Генку — и... в яму, за табличку, где череп с косточками, куда даже подходить запрещено. Хватятся — человек пропал, где его искать? Сперва же по реке да по кустам шарить будут. Пока шарашатся, глядишь, яму заполнят, цементом зальют, землей сверху закидают. Захоронения же! А там, говорят, какие-то страшные кислоты, они все разъедают — и мясо и кости. Был человек да растаял, ничего-шеньки от него не осталось. Яшка может каждого так...

Захлебывающийся шепот Сократа оборвался.

Не раз в ту ночь наступали тихие паузы, но такой тишины еще не обрушивалось. Далеко-далеко гудело шоссе, связывающее город с не засыпающим на ночь комбинатом. Сам город спал, разбросав в разные стороны прямые строчки уличных фонарей.

И сияла над головой застывшая листва лип, и выслеся обелиск павшим воинам, и дышала ночь речными запахами.

Генка Голиков... Он только что стоял здесь — белая накрахмаленная сорочка, облегающая широкую грудь, темный галстук, крепкая шея, волосы светлой волной со лба. Обиженный Генка, обидевший других! Рост сто девяносто, ленное лицо, крутой лоб, белесые брови, волосы светлой волной... И в запретном месте, заполненные ядовито-зловонными, разъедающими все живое отходами ямы. Для Генки. Генка Голиков — и ямы...

Тихо-тихо кругом, гудит далекое шоссе, спит украшенный огнями город, ночь дышит речной сыростью.

Слово «убить» было произнесено раньше. И не раз. По до этой тихой минуты никто из вчерашних школьников не в силах был представить себе, что, собственно, это такое. Теперь вдруг представили. Через несовместимое: Генка — и ямы...

Ольга Олеговна и директор Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил:

— Мы вот в общих проблемах путались, а я все время думал о сыне. Да, да, об Алешке... Вы же знаете, он не попал в институт. И глупо как-то. Готовился, и настойчиво, на химико-технологический, а срезался-то на русском

языке — в сочпении насадил ошибок. Пошел в армию... Нет, нет, я вовсе не против армии, мне даже хотелось, чтоб парень попохал воинской дисциплины, пожил в коллективе, чтоб с него содрали инфантильную семейную корочку. Не армия меня испугала, а сам Алешка. Собирался стать химиком, никогда не мечтал о воинской службе, но споконно, даже, скажу, с облегчением встретил решение сложившееся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает потому только, что там не надо заботиться о себе: по команде поднимают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый твой шаг размечен, записан, в уставы внесен — надежно. Что это, Ольга Олеговна, — отсутствие воли, характера? Не скажу, чтоб он был, право, совсем безвольным. Он как-то взял приз по лыжам. Не просто взял, а хотел взять, готовился с упорством, нацеленно, волево. А характер... Гм! Да сколько угодно. Что-что, а это уж мы в семье чувствовали. Но вот что я замечал, Ольга Олеговна, он слишком часто употребляет слова «ребята сказали... все говорят... все так делают». Все посят длинные волосы на загривке — и мне надо, все употребляют словечко «пахан» вместо «отец» — и я это делаю, все берут призы по спортивным соревнованиям — и мне не след отставать, покажу, что не хуже других, волю проявлю, настойчивость. Как все... Так даже не легче жить! Отпудь! Надо тянуться за другими, а сколько сил на это уходит. Не легче, по гораздо проще. Легкость и простота — вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но, право же, необязательно легче.

Ольга Олеговна остановилась.

— Как все — проще жить? — переспросила она.

Остановился и Иван Игнатьевич.

Над ними сиял фонарь — пуста улица, темны громоздящиеся одно над другим по отвесной стене окна, спал город.

— Да ведь мы все понемногу этим грешим, — виновато проговорил Иван Игнатьевич. — Кто из нас не подлаживается: как все, так и я.

— А вам не пришло в голову, что люди из породы «как все, так и я» непременно примут враждебно новых Коперников и Галилеев потому только, что те утверждают не так, как все видят и думают? К Коперникам — враждебно, к заурядностям — доверчиво.

— М-да. Недаром говорится в народе: простота хуже воровства.

— Воровства ли? Не простаки ли становились той

страшной силой, которая выплескивала наверх гитлеров? «Германия — превыше всего!» — просто и ясно, объяснений не требует, щечочет самолюбие. И простак славит Гитлера!

— М-да. Но к чему вы ведете? Никак не уловлю.

— К тому, что мы поразительно слепы!

— А именно?

— Целый вечер спорили — дым коромыслом. И на что только не замахивались: обучение и увлечение, равнодушные и преступность, ремесленничество и техническая революция. А одного не заметили...

— Чего же?

— На наших глазах сегодня родилась личность! Событие знаменательное!

— М-да... Но, позвольте, все кругом личности — вы, я, первый встречный, если б такой появился сейчас на улице.

— Все?.. Но вы, Иван Игнатьевич, сами только что сказали: кто из нас не грешит — как все, так и я, под общую сурдинку. Смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Вроде сухой воды, зыбкой тверди, лучезарного мрака. Личность всегда исключительна, нечто противоположное «как все».

— Если вы о Студёнцева, так она и прежде была исключительна, не отыметь.

— Она отличалась от остальных только тем, что это «как все» удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв — не как все, себя выразила, не устрашилась! Событие, граничащее с чудом, Иван Игнатьевич.

— Ну уж и чудо. Зачем преувеличивать?

— Если и считать что-то чудом, то только рождение. Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность. Не заметили!

— Как же не заметили, когда весь вечер ее обсуждали.

— Заметили лишь ее упреки в наш адрес, о них говорили, их обсасывали, и ни слова изумления, ни радости.

— Изумляться куда ни шло, ну а радоваться-то нам чему?

— Нешаблонный, независимо мыслящий человек разве не оградное явление, Иван Игнатьевич?

— М-да... — произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно — не понять.

Они двинулись дальше.

Их шаги громко раздавались по пустынной улице — drobные Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, но от стен домов невнятно веяло теплом — отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце.

Слово «убить», которое так часто встречалось в книгах, звучало с экранов кино и телевидения, вдруг обрело свою безобразную плоть.

Натка на пригибающихся ногах, слепо вытянув вперед руки, двинулась к скамье.

Вера сдавленно всхлипнула, Игорь — остекленевший взгляд, одеревеневший нос, темный подбородок — стал сразу похож на старичка, даже штаны спадают с худого зада.

Виновато переминался Сократ с гитарой. Юлечка застыла в наклоне — вот-вот сорвется бежать.

А тишина продолжалась. И шумело далеко в ночи за городом шоссе.

Вера всхлипнула раз, другой и разревелась:

— Я... Я вспомнила...

— Нам теперь будет что вспомнить, — глухо выдавил из себя Игорь.

— Я... Я в кабинете физики... трансформатор... пережгла. Один на всю школу и... дорогой. Генка сказал... — Плечи Веры затряслись от рыданий. — Сказал, это он сделал. Я не просила, он сам... Сам на себя!

— А меня... Помните, меня из школы исключали, — засуетился Сократ. — Мне было кисло, фратеры. Мать совсем взбесилась, кричала, что отравится. Кто меня спас? Генка! Он ходил и к Большому Ивану и к Вещему Олегу. Он сказал им, что ручается за меня... А мне сказал: если подведу, набьет морду.

Игорь судорожно повел подбородком.

— О чем вы? — выкрикнул он сдавленно. — Трансформатор!.. Генка никогда не был таким... Таким, как сегодня! Трансформатор... Вы вспомните другое: я, ты, Сократ, все ребята нашего класса, да любой нацан нашей школы ходил по улице задрал нос, пикого не боялся. Каждый знал — Генка заступится. Генка нашим заступником был — моим, твоим, всех! А сам... Он сам обидел кого-нибудь?.. Просто так, чтоб силу показать... Не было. Никого ни разу не ударил!.. И вот нас сегодня...

— Опомнись! — резко оборвала Юлечка. — Мы же раньше его обидели! Все скопом. И я тоже.

— А я... Я ведь не хотела... — заливалась слезами Вера. — Я откровенно, до донышка... Он вдруг обиделся... Не хотела!

— Юль-ка-а! — качнулся Игорь к Юлечке. — Скажи, Юлька, как это мы?.. Чуть-чуть не стали помощниками Яшки.

— Стали, — жестко отрезала Юлечка. — Согласились помочь Яшке. Молчанием.

На скамье в стороне сидела Натка, прямая, одеревеневшая, с упавшими на глаза волосами, с увядшими губами...

— Нет, Юлька! Нет! — Тоскливое отчаянье в голосе Игоря. — Нет, не успели! Слава богу, не успели!

— Согласились молчать или нет?

Бледное, заострившееся личико, округлившись, тревожно-птичьими глазами в упор — Игорь сжался, опустил взгляд.

— Согласились или нет?

Игорь молчал, опущенные веки скрывали бегающие зрачки. Молчали все.

Натка, окончив, сидела в стороне.

— Раз согласились, значит, стали!.. Уже!.. Пусть маленькими, пятиминутными, но помощниками убийцы!

Игорь схватился за голову, замычал:

— М-мы-ы! М-мы-ы — его!..

— А я не хотела! Не хотела! — захлебывалась Вера.

— А я хотел? А другие? М-мы — его!

Игорь мычал и качался, держась за голову.

Натка, деревянно-прямая на скамье, подняла руки, неуверенно, пеловко, непослушными пальцами, как пьяная, стала заправлять упавшие волосы. Так и не заправила, обессиленно уронила руки, посидела, мертво, без выражения глядя перед собой, сказала бесцветно:

— Я пойду...

И не двинулась.

Тишина. Далеко за городом шумело шоссе.

Игорь опустил руки, сбмяк.

— Юль-ка... — снова просяще заговорил он. — Не были же такими... Нет... Ни Генка, ни мы...

Тишина. Обмерший город внизу — темные кварталы, прямые строчки уличных фонарей да загадочный неоновый свет над вокзалом. Шумело шоссе.

— Юль-ка... Я чувствовал, чувствовал, ты помнишь?

Глядя в сторону, Юлечка ответила тихим, усталым голосом:

— Не лги... Никто из нас ничего не чувствовал... И я тоже... Каждый думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...

Опираясь на спинку скамьи, Натка наконец с трудом поднялась:

— Я пошла... к нему... Никто не ходите со мной. Прощу.

И опять застыла, нескладно-деревянная, слепо уставясь перед собой.

Все коснулись на нее, но сразу же стыдливо отводили глаза и... упирались взглядами в обелиск, в мраморную доску, плотно покрытую именами:

Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой

Базаев Борис Андреевич — рядовой

Бутырин Василий Георгиевич — старший сержант...

Обелиск — знакомая принадлежность города. Настолько знакомая, привычная, что уже никто не обращал на нее внимания, как на морщину, врезанную временем, на отцовском лице. Обелиск весь вечер стоял рядом, в нескольких шагах... Сейчас его заметили — отводили глаза и вновь и вновь возвращались к двум столбцам имен на камне с тусклой, выеденной непогодой позолотой.

Нет, выбитые на камне, вознесенные на памятник лежали не здесь, их кости раскиданы по разным землям. Могила без покойников, каких много по стране.

Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой

Базаев Борис Андреевич — рядовой...—

и еще тридцать два имени, кончающихся на некоем Яшенкове Семене Даниловиче, младшем сержанте.

Убитые... Умерших своей смертью тут нет. Окаменевшая гордость за победу и память о насилии, совершенном около трех десятилетий назад, задолго до рождения тех, кто сейчас немотно отводит глаза...

Артюхов Павел Дмитриевич...

Базаев...

Убитые уже не могут ни любить, ни ненавидеть. Но живые хранят их имена. Для того, наверное, чтоб самим ненавидеть убийство и убийц.

Бывшие школьники отводили глаза...

Натка качнулась:

— Я пошла...

Негнушащаяся, с усилием переставляя ноги, она прошла мимо обелиска к обрыву.

Долго было слышно, как осыпается земля под ее ногами.

Ночь уже не напирала с прежней тугой упругостью. Призрачная синева проступала в небе, и редкие звезды отливали предутренним серебром.

23

Физик Решников и математик Иннокентий Сергеевич жили в одном доме. Они подошли к подъезду и неожиданно вспомнили:

— Э-э! Какое сегодня число?

— А ведь да! Двадцать второе июня...

— Тридцать один год...

— Пошли,— сказал Решников,— у меня есть бутылка коньяку.

Они поднялись на пятый этаж, тихонько открыли дверь, забрались в кухню. Решников поставил на стол бутылку.

— Уже светает.

— Как раз в это время...

В это время, на рассвете, тридцать один год назад начали падать первые бомбы, и двое пареньков в разных концах страны, только что отпраздновавшие каждый в своей школе выпускной вечер, отправились в военкоматы.

За окном шнело. За узким кухонным столиком перед ночатоу бутылкой — два бывших солдата.

— Ты можешь представить пынешних ребят в занесенных снегом окопах где-нибудь под Ельней?

— Или у нас под Ленинградом, где мы жрали мерзлые почки с берез?

— В каких костюмах они сегодня были, в каких галстуках!

— Учти, каждый при часах, а первые часы я купил, проработав два года учителем.

— И все-таки в счастливое время они живут.

— Не удивительно, как сказала эта Нина Семеновна, добры от природы. Должны быть добрее нас.

— Ну, сня гипотеза еще пуждается в проверке... На носожок, Иннокентий?

— Вышьем за то, чтоб они не мерзли в окопах,

А в том же доме, этажом ниже, в своей одинокой тесной комнате не спала, плакала в подушку Зоя Владимировна, старая учительница, начавшая свое преподавание еще с ликбе́за.

Нина Семёновна, сегодня неожиданно тоже ставшая старой учительницей, изнемогала от материнской нежности и тревоги: «Какие взрослые у меня ученики! Что их ждет? Кто кем станет? Кем Юлечка? Кем Гена?»

Она жила в новом квартале, на окраине, не спеша шла сейчас пустыми улицами, через просторные пустые площади, и маленький город, где родственно знаком был каждый туничок, каждый перекресток и каждый угол, выглядел сейчас, в мутно-синих сумерках, величественным и таинственным.

Перед подъемом к набережному скверу она неожиданно увидела своих учеников. Они спускались по широкой лестнице — Сократ Онучин с гитарой, встрепанный, как всегда, нахотеленный Игорь Проухов, задумчивая, клонящая вниз гладко расчесанную голову Юлечка Студёнцева и Вера Жерих, увалисто-широкая, покойно-сосредоточенная. Тесной кучкой, молчаливые, заметно уставшие, пережившие свой праздник. Похоже, они уже несут сейчас недетские мысли.

Старая присказка: жизнь прожить — не поле перейти. Не первые ли самостоятельные шаги через жизнь — самые первые! — она сейчас наблюдает? Далеко ли каждый из них уйдет? Кем станет Юлечка?..

Ребята прошли, не заметив Нину Семеновну.

Они проходили мимо школы.

В необмытой от сумерек рассветной голубизне школа вознесла и развернула все свои четыре этажа размашисто-широких, маслянисто-темных окон. Непривычно замкнутая, странно мертвая, родная и чужая одновременно. Скоро взойдет солнце, и нефтянисто отсвечивающие окна буйно заплывут — все четыре этажа. Должно быть, это мощное и красивое зрелище.

Запрокинув голову, бывшие десятиклассники разглядывали свою школу в непривычный час, в непривычном обличье. Каждый мысленно проникал сквозь глухие, налитые жирным мраком окна в знакомые коридоры, в знакомые классы.

Вера Жерих шумно и тяжело вздохнула. Юлечка Студёнцева тихо сказала:

— Здесь было все так понятно.

Долго никто не отзывался, наконец Игорь произнес:

— Мы научимся жить, Юлька.

Вера снова шумно вздохнула.

А на реке по смолисто загустевшей воде ползли перьяш-ливые клочья серого тумана. Натка с мокрым, лишающим к ногам подолом платья, в насквозь мокрых от росы праздничных туфлях бродила по берегу, искала Гешку.

Ночь после выпуска кончилась.

Примечания

В 4-й том Собрания сочинений включены произведения, опубликованные в период с 1968 по 1974 год: «Кончина», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши» и «Ночь после выпуска».

Пять повестей этого тома не представляют собой единого целого. В них прослеживается водораздел, который наметился у писателя в эти годы. По признанию В. Тендрякова, он «долго не мог стать настоящим горожанином, оглядываясь на деревню, *БОЛЕЛ ЕЮ*. Но как-то незаметно произошло, что действительно превратился в горожанина, и оказалось, что о городе писать ничуть не менее интересно, чем о деревне». (Выступл. в Пединституте им. В. И. Ленина, 1982 г.)

Итогом творческого поиска, начатого Тендряковым в 1953 году очерком «Падение Ивана Чупрова» и продолженного всей повеллистикой 50—60-х годов, стали повести «Кончина» и «Три мешка сорной пшеницы». В них подвергается тщательному анализу целая историческая эпоха в жизни деревни. В ткани этих произведений все отчетливее проступает и тот круг проблем, который определит зону дальнейшего поиска писателя на многие годы.

Создав «Кончину» и «Три мешка сорной пшеницы», В. Тендряков «уходит» из деревни, перенося груз проблем, которым остался верен, на самые различные «площадки», моделируя на них метаморфозы добра и зла, общечеловеческие и сугубо личные конфликты, сосредоточивая свое внимание на более обобщенных нравственно-философских вопросах.

Все пристальнее и подробнее исследует он детство и юность — истоки рождения личности, пытается понять корни ошибок, которые ведут к разобщенности людей, к непониманию и трагедиям.

«До сих пор человечество не открыло еще такой науки, которая помогла бы понять жене — мужа, соседу — соседа, коллек-

тиву — личность, наконец, стране — другую страну, нации — нацию. «Чужая душа — потемки». Эту горькую истину из глубины веков принесло к нам время. И все-таки литература освещает потемки человеческой души, открывает сокровенное — мне — Вам — Вам — мое». Эта мысль, высказанная писателем на публичном выступлении в Лейпциге (1975), в разных вариациях многократно повторяется им в дружеской и деловой переписке, в интервью, входит в ткань художественных произведений.

Необходимость понять друг друга — отправная точка всего творчества Тендрякова. «Искусство жить не укладывается ни в какие трафареты. Невозможно дать готовых рецептов. Я сам их пишу. Поставить вопрос не менее важно, чем решить его». (Выступление в Институте им. В. И. Ленина, 1982 г.)

Тексты произведений, вошедших в 4-й том, печатаются по изданию: Тендряков В. Собр. соч. в 4-х томах. М., ПХЛ, 1980. В случае, когда произведение печатается по другому изданию, это оговаривается.

К о н ч и н а. — Впервые — в журнале «Москва», 1968, № 3.

Работа над повестью продолжалась более трех лет. Первое упоминание о ней в печати появляется в мае 1967 года. В том же году, в интервью «Лит. газете» В. Тендряков говорит: «Закончил работу над «Кончиной». И уточняет: «Кончина» — это история одного колхоза в лицах и картинах, прослеженная почти от зарождения до наших дней. Каждую из проблем приходилось решать не с 2-х, а с доброго десятка сторон» («Лит. газ.», 1967, 19 июля).

Литературная судьба этой повести складывалась трудно. Журнальную публикацию от первой книжной разделяет шестилетний интервал. Лишь в 1974 году «Кончина» вошла в состав сборника «Перевертыши», выпущенного издательством «Современник». Такой разрыв не случаен. Период подъема, который наблюдался в общественной жизни и литературе, миновал. В конце 60-х годов обозначилась тенденция спада и застоя.

«Кончина» была произведением принципиально важным как для самого писателя, так и для всего его творчества. Критик Ю. Томашевский вспоминает: «Кончину», пожалуй, Тендряков любил больше остальных своих повестей и романов. Гордился, что ее написал. Но, как мне кажется, еще более гордился тем, что заставил ее напечатать. Пробил. С трудом представляю, как это ему удалось». («Вчера и сегодня». М., «Сов. пис.», 1986) В переписке автора с норвежским издателем А. Перминовым мы нахо-

дим подтверждение этой мысли: «Наиболее серьезной из всех предложений Вами к изданию повестей считаю «Кончину». (Архив писателя.)

К появлению «Кончины» В. Тендряков шел исподволь. Ее истоки видны в самых ранних работах писателя. Деревня Пожары впервые появляется в «Падении Ивана Чупрова», колхоз «Власть труда» — в очерке «Несчастье». Но все это приметы чисто внешние. Непосредственным толчком к созданию повести послужила творческая командировка писателя в Ставрополье, его знакомство с колхозами этого богатого края. В частности с председателем колхоза-миллионера Посмитным. Нельзя искать прямых аналогий между колхозом Посмитного и «Властью труда» Лыкова. Поездка сыграла роль катализатора, помогла заново переосмыслить весь материал, которым владел автор.

История восхождения и духовной деградации социальных типов, подобных Чупрову — Мансурову — Лыкову, на протяжении многих лет была предметом пристального изучения писателя. По в ранних повеллах он ставил вопрос более локально. В «Кончине» это явление рассматривалось в контексте целой исторической эпохи. Проблема власти. Взаимоотношение личности и коллектива, личности и государства... Шло художественное освоение большого жизненного пласта, попытка проникновения в закономерности процессов, происходящих в деревне. «Прямой выход к смыслу, к правдивому истоку — вот черты письма Тендрякова, его оголенно-ясной прозы. В каждой вещи — несмыаемые черты эпохи», — так определял И. Золотусский свое отношение к повести. («Комсом. правда», 1974, 2 июля.)

Незадолго до публикации повести, в интервью В. Тендряков говорил: «Для нас сейчас важны не столько проблемы, сколько подход к ним. Писателю, для того чтоб он мог выполнить свой долг перед обществом, необходим анализ, необходим беспристрастный, объективный разбор жизненных явлений». («Книжное обозрение», 1968, 20 января.)

Появление «Кончины» стало событием в литературной жизни, вызвало резкое размежевание общественного мнения. Социальный анализ был так не схож с традиционно сложившейся оценкой истекшего исторического периода, что критика конца 60-х годов, почти единодушно признала повесть творческой неудачей писателя. Рецензии, подробные критические статьи появились практически во всех периодических изданиях — начиная от центральных газет и журналов, до альманахов, выходящих в областях и республиках. Авторы статей обвиняли писателя в «художественной слабости и гонимой тенденциозности замысла», в «неспособности понять и осмыслить процессы, происходящие в советской деревне», в «абстрактном гуманизме» (Иванов В. «Факты жизни и художе-

ственное обобщение». — «Лит. газ.», 1968, 29 мая). «Повесть причастна к очернению колхозной действительности прежде всего потому, что в ней не выражена вера в наши идеалы, не слышится боль сердца художника, столкнувшегося с отрицательным». (Абалкин Н. «Критика сегодня и завтра». — «Вопросы литературы», 1968, № 11.) «Писатель упустил из виду классовую суть борьбы за землю», «Не затронул тему поддержки крестьянства рабочим классом». (Куклис Г. «Евлампий Лыков и его «посох». — «Лит. Россия», 1968, 17 мая.) «Что сказать председателям? Почему нас так жестоко оболгали?» (Миклушина Е. «Октябрь», 1968, № 11.) Вывод отдельных критиков был категоричен: «Произведение толкает, хотел того автор или нет, уже на определенную отрицательную оценку колхозного строя вообще». (Иванов В. «Лит. газ.», 1968, 29 мая.)

Диссонансом на общем фоне прозвучало выступление Л. Резникова. Вслед за автором, он взгляды в «лыковскую державу», построенную только на единоличной власти-силе и страхе перед Лыковым, первым отметил, что «Иван Слеггов — новый образ в нашей литературе».

«Все или почти все, что говорит прогнивший писатель о скрытом противоречии и преуспевании Лыкова и колхоза — для нас ново. Никто еще так до Тендрякова не ставил вопрос о противоречии между экономическим ростом одного хозяйства, окруженного хозяйствами бедствующими (вроде соседней Петраковской) и нравственными целями всего общества. Никто, кажется, не говорил так остро и убедительно о тех огромных издержках социально-психологических, этических, нравственных, которые сопутствуют экономике, направленной только на одну цель: на материальную выгоду одного хозяйства... Лыков держит страхом. Грозит не раскулачиванием (кулаков и вообще «единоличников» больше нет), не высылкой (высылать больше некого), грозит самым насущным — куском хлеба. «Бойся» — выходит вроде глухой стенки — людей разъединяет...» Чем богаче становился колхоз «Власть труда», тем беднее духовно оказывались его люди... Это произведение будит в нас совесть, напоминает о самом главном — о нашей гражданской обязанности активно отстаивать свои социалистические завоевания». («Письмо о силе добра». — «Север», 1969, № 1.)

Отдельные выступления не могли изменить официального отношения к повести. Отвечая на письмо одного из своих читателей по поводу «Кочины», В. Тендряков отвечает: «Кочину» до сих пор считают «идейно порочной». От нее сейчас шарахаются все издательства, и нет никакой надежды, что она выйдет книгой». (Архив. Письмо к Т. Пересунько, г. Николаев.)

Судя по потоку писем, повесть быстро нашла дорогу к чита-

телю. Коллективные письма от студентов, читателей библиотек, письма-исповеди, письма людей, прошедших «лыковские университеты», — эти документы эпохи сами по себе могли стать предметом изучения.

«...Мне кажется, что Вами созданы новые литературные типы,— пишет Л. Краловский из г. Кирова,— и, если они существовали раньше, то Вы их творчески оживили. Читаешь Вашу книгу и все время проверяешь себя и, конечно, хочется быть лучше».

«Кончина» — огромная удача автора и журнала. Эта вещь очень нужна нам сегодня. Хотя чувствую, что ударят по ней из всех орудий» (Томаринцев, Рязань).

«Читая эту повесть, все время останавливался, чтоб прислушаться к собственным взбудораженным мыслям и воспоминаниям. За образом Ивана Слегова стоят реальные Иваны с перебитыми хребтами, которые и поныне вынуждены служить Лыковым. Вы правы, Лыков умер, но он жив, он стал привычкой, с которой люди легко не расстанутся». (А. Орлов, Ленинград.)

«Уважаемый единомышленник! Ваша повесть — безусловная историческая правда. Пусть люди знают, что было хорошо, а что плохо. Знают и думают». (И. Выродов, Куйбышев.)

«Когда мои внуки спрашивают меня, как, по каким книгам изучать историю страны, я им всегда в первую очередь называю «Кончину». (Б. Зейгарник, Москва.)

Чем категоричнее была оценка критики, тем с большим упорством авторы писем доказывали необходимость этой вещи для духовной жизни страны. «Идите своим путем. И с каждым годом у Вас будет больше и больше единомышленников». (Батанов, библиотекарь, г. Калинин.)

В читательском многоголосье попадались письма, продиктованные открытой неприязнью к автору. Например, письмо сотрудников одного краеведческого музея: «Впечатление от повести удручающее. Чему она учит молодежь? А наши идеалы? Крайне возмущены позицией писателя. Хотелось бы знать, как могло случиться, что такой «тройянский конь» — повесть «Кончина» — попал на страницы журнала «Москва»? Были ли письма-окрпки, требующие призвать автора к порядку.

В архиве В. Тендрякова сохранились писательские отзывы на «Кончину».

Даниил Гранин писал: «Дорогой Володя! Поздравляю тебя с отличной книгой! Давно я не читал такой крепкой вещи, где все сжато, стиснуто, собрано, так что видно и микро и макро. Молодец. Твой Д. Гранин».

«Кончина» — самая радиоактивная твоя книга. Она вызывает такой душевный взрыв, что долго ходишь с огромной болью, от которой прозреваешь. Воронов Н.). Оценил повесть и Кайсын Кулиев: «Дорогой Володя! Много месяцев хожу под впечатлением твоей книги. Это, конечно, одна из самых настоящих вещей, которые мне пришлось прочесть за всю жизнь. Прими мое огромное спасибо. Думаю, если бы ты больше ничего не написал, кроме этой книги,— все равно твое место было бы прочно-напрочном в нашей литературе».

Сохранил Тендряков и телеграмму из Вологды: «Прочитал «Кончину» и не могу прийти в себя. По-моему это самое сильное произведение литературы последних лет. Радуюсь и горжусь земляком. В. Невзоров».

Время внесло свои коррективы в оценку повести, приблизило ее к нашим дням. Топ критики со второй половины 70-х годов изменился. Наше прошлое требовало внимательного изучения, и «Кончина» стала пужной в этом процессе осмысления истории.

В своей книге «Час выбора» Игорь Золотусский писал: «Кончина» скорей конспект романа, но как всякий конспект он плотен, плотен по изображению и по мысли, которая, впрочем, сама по себе здесь почти не существует, а растворяется в изображении, исчезает в нем. Три десятка лет русской истории впрессовывает В. Тендряков в две с небольшим сотни страниц... В образах и картинах этой повести прорезаются образы и черты эпоса» (М., «Сов. пис.», 1976).

Почти 20 лет спустя после выхода повести в журнале «Вопросы литературы» появляется статья Л. Вильчик «Вниз по течению деревенской прозы». Подробное место в ней отведено анализу «Кончины»: «Стремление максимально уплотнить и философски укрупнить изображение придает реалистической по материалу повести некий символический, притчеобразный характер, неожиданным роднящий ее с такими явлениями в мировой литературе, как «Осень патриарха» Гарсиа Маркеса. Явная метафоричность основных линий повести, прежде всего история бывшего антагониста Лыкова — бухгалтера Сягова, человека с перебитым хребтом, становящегося интеллектуальным придатком своего победителя, а равно и описание гипертрофированной сексуальности Лыкова — почти мифологическая сплетенность темы власти и вождения,— все это позволяет говорить о том, что «Кончина» — явление не совсем типичное в деревенской прозе... Синтез бытописания и философской притчи дал писателю ключ к более глубокому и масштабному осмыслению истории села. Созданный Тендряковым «конспект романа» скорее обнажает вопросы, нежели отвечает на них. Но именно эти вопросы, поставленные предельно резко,

активно исследуют «деревенщики». («Вопросы литературы», 1985, № 6.)

В «Кончине» необходимо выделить еще один аспект, который часто оставался вне анализа. Прошлое и настоящее для В. Тендрякова важны только в едином контексте с будущим. Что дальше? Что за чертой Лыкова? В «Кончине» писатель впервые делает попытку прогнозировать это будущее, пытается разглядеть ростки новых социальных взаимоотношений, которые уже появились в недрах лыковской державы. Их носители Лыков-младший и колхозники деревни, совершившие «Петраковское чудо».

В 1972 году, в журнале «Дружба народов», Тендряков публикует очерк «Новый час древнего Самарканда», считает его принципиально важным в своих социальных поисках. То, что в повести доказывается системой художественных образов, в очерке приобретает форму публицистических выводов. «Нельзя мечтать о взаимопонимании, если основные человеческие отношения — трудовые, будут строиться по принципу: приказываю — исполни. Думать необязательно». «Предельное внимание общества к личности — это и есть, наверное, наивысший коллективизм. Добавим, человеческий коллективизм, а не муравьиной кучи». Средствами прозы и публицистики В. Тендряков утверждает одно из своих главных положений, — экономика не может рассматриваться вне сферы нравственности, иначе все ее достижения будут сведены на нет.

«Кончина» издавалась во Франции, ГДР, Польше, на языках союзных республик.

Три мешка сорной пшеницы. — Впервые — в журнале «Наш современник», 1973 г., № 2.

В повести, которая тематически еще тяготеет к «Кончине», находясь с ней как бы в одном регионе, все отчетливее проступают черты нравственно-философской прозы, которая станет определяющей для всего последующего творчества писателя.

В основу повести лег автобиографический материал последнего года войны, когда писатель после тяжелого ранения вернулся на Родину и так же, как его герой Ивнька Тулунов, в составе бригады колесил по обескровленным, голодным северным деревням, добывая хлеб и фураж, необходимые фронту. Воспоминания об этом периоде вошли в книгу Ю. Томашевского «Вчера и сегодня». (М., «Сов. пис.», 1986.)

«Три мешка сорной пшеницы» — повесть трагедийная. Она исполнена глубочайшего уважения, боли и сочувствия к людям,

выдержавшим испытания голодом, холодом и тяжелым трудом и при этом сохранившим, как говорит в повести председатель сельсовета Кистерев, совесть живой». (Кузнецов Ф. «Суд совести». — «Лит. Россия», 1973, 14 декабря.)

«Литература, которая не заставляет думать, не нужна жизни», — говорил Тендряков в своем выступлении по Берлинскому радио в 1975 году. Напряженный поиск истины составляет главный внутренний стержень повести. Мечта и действительность, добро и зло, все разрушающая догма и человечность — вот полюса, между которыми разворачиваются драматические события в Нижней Ечме. Жизнь подвергает проверке все ценности, мнимые и реальные, и высшей «нравственной мерой вещей и событий остается совесть». (Эльясевич Ар. «Горизонталы и вертикали». Л., «Сов. пис.», 1984.) «Многозначность, допускающая разные степени постижения мысли», позволила А. Бочарову называть эту повесть — «повестью-параболой», обязательным свойством которой становится философское осмысление действительности. (Бочаров А. «Филологические науки», 1980, № 5.)

В статье «Женька и Евгений Тулупов» Д. Гранни пишет: «Повесть «Три мешка сорной пшеницы» сразу привлекла внимание читателя и критики своей драматичностью и резкостью. Для прозы Тендрякова характерен интерес к конфликтам трагическим. Он не избегает их, он идет к ним с мужеством подлинного оптимизма». («Комсом. правда», 1975, 13 февраля.)

Объясняя, почему центром, организующим действие прозы, является острая драматическая ситуация, В. Тендряков говорил на одной из читательских конференций: «Именно конфликт изменяет и формирует характер человека. Участие человека, — я говорю человека, а подразумеваю героя, в конфликте меняет его характер неизбежно в ту или иную сторону». (Архив писателя.)

Такой жизненной проверке подвергся главный герой повести «Три мешка сорной пшеницы» Женька Тулупов. Драматичность внешних событий повторена «драмой в душе героя», драмой человека на перенутье, для которого первым испытанием была война, а вторым, не менее сложным, — первый год его тыловой, мирной жизни.

В этой повести впервые у Тендрякова появляется мотив социальной утончи, который нашел свое развитие и завершение в романе «Покушение на миражи». «Утопические мечтания Томазо Кампапеллы подвергнуты в «Трех мешках сорной пшеницы» такой глубокой ревизии, которая только и могла состояться в русской деревне, измученной войной. Утопия всегда пытается выдать человечеству панацею, художник только тогда художник, когда в основе его работы лежит вопрос: «Что делать?»

(Икрамов К. «Время Владимира Тендрякова». М., «Известия», 1985.)

В предисловии к немецкому изданию Собрания сочинений В. Тендрякова Ральф Шрёдер, составитель и комментатор, писал: «Женька Тулунов — молодой ученик Кампанеллы, хочет сделать жизнь разумной, гармоничной, хочет навести порядок. Попытка эта не состоялась, окончилась крахом. Всегда есть противоречия между теорией разума и живой жизнью. Нечто подобное испытал и сам Тендряков, вернувшись с войны и работая секретарем райкома комсомола в свой первый год жизни вдали от фронта».

В начале 1975 года состоялась премьера спектакля «Три мешка сорной пшеницы» на сцене Большого драматического театра им. М. Горького в Ленинграде. Художником спектакля был М. Ивницкий, композитором В. Гаврилич. В диалоге с критиком А. Свободным главный режиссер театра Г. А. Товстоногов объясняет, почему для сценического воплощения он выбрал именно повесть Тендрякова. «Мы рассчитывали на потрясение. Вот чем продиктован наш выбор повести Тендрякова. Проза — самая динамичная и глубокая форма самопознания. При чтении этого писателя возникает огромная ассоциативная активность воображения и мышления». («Лит. обзор.», 1976, № 2.)

Постановка спектакля явилась событием для всей культурной жизни страны.

Возвращаясь к этой теме в 1985 году, Г. А. Товстоногов писал: «Ни в одной пьесе того времени я не нашел той пронзительной правды о жизни народа конца Великой Отечественной войны, которая соединяла бы прошлое и настоящее, где совесть человеческая соизмерялась бы с самой жизнью».

Повесть выдержала много изданий как у нас в стране, так и за рубежом. Спектакли по повести шли на сценах ФРГ, Финляндии, ГДР, Чехословакии и Польши.

Апостольская командировка. — Впервые — в журнале «Наука и религия», 1969, № 8, 9, 10.

В «Апостольской командировке» В. Тендряков продолжает свой нравственно-философский поиск, сосредоточивает свое внимание на так называемых «вечных» вопросах — о смысле жизни, о месте человека на земле. Оказавшись в плену этих «вечных» вопросов и потеряв ориентиры, главный герой повести Юрий Рыльников приходит к идее бога. Автор показывает героя в момент тяжелого душевного кризиса. «Настало время, когда уже не только незнание, но и знание у некоторых, получивших образование людей может служить основой для религиозного представления о ми-

